

[Polaris]

Н. Н. ХОЛОДНЫЙ



КОНЕЦ
ПЕТЕРБУРГА

(Борьба миров)

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

ССИ



Salamandra P.V.V.

**Н. Н.
ХОЛОДНЫЙ**

КОНЕЦ ПЕТЕРБУРГА

(Борьба миров)

Астрономический, физический
и фантастический роман

Salamandra P.V.V.

Холодный Н. Н.

Конец Петербурга (Борьба миров): Астрономический, физический и фантастический роман. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 147 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. ССII).

Роман Н. Н. Холодного «Конец Петербурга (Борьба миров)» – апокалиптическая картина столкновения Земли с кометой и гибели опустевшего Петербурга, написанная в подражание романам-предупреждениям Г. Уэллса и К. Фламариона. Драматические события переживает группа петербургских обывателей. Необычная фигура главного героя – служащего железнодорожного правления Николая Николаевича, самодовольного пошляка, больше думающего не о грядущей катастрофе, а о собственном желудке и очередной интрижке – придает традиционному «роману катастроф» неожиданные сатирические нотки.

**КОНЕЦ
ПЕТЕРБУРГА
(Борьба миров)**

БОРЬБА
МИРОВОЙ

Астрономическій, физическій и
фантастическій романъ

И. И. Холоднаго.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія Н. Евстифьева, Невскій 15 и Мѣшанская 20.

1900.

Сообщение Пулковской обсерватории:

«В пределах Солнечной системы замечена новая небольшая комета; вычисление ее элементов показывает, что она должна пересечь земную орбиту приблизительно в то время, когда Земля будет в пункте пересечения».

И еще примечание:

«Элементами кометы называются величины, определяющие условия ее орбиты».

Больше ничего!

Люблю я слог ученых! Бесстрастно, в коротких, но точных выражениях, без малейшего повышения тона, даже без восклицательного знака извещают они нас о близком конце Земли, нашей милой Земли, которая дает нам столько печалей, но и много радостей, которая так радушно удерживает нас, когда мы стремимся уйти, улететь от нее, и с таким дружелюбием принимает нас к себе, когда мы наконец устаем и печалиться и радоваться. И затем примечание, ибо это так важно, так существенно, так необходимо знать перед самым моментом смерти, что называется элементами кометы!

Да, бесстрастно! Но я похолодел от ужаса, уяснив себе смысл этого известия. Предстоит, значит, столкновение мировых поездов, и хотя я не астроном, но зато железнодорожный служащий, и мне слишком хорошо известны гибельные результаты подобных столкновений даже в тех сравнительно миниатюрнейших размерах, какие возможны на Земле. А, с другой стороны, я обладаю некоторыми познаниями в астрономии и физике, весьма, правда, слабыми, но достаточными для того, чтобы потерять надежду на спасение даже в том случае, если столкнувшиеся миры не будут разбиты вдребезги.

Чайная ложка выпала из моей руки и наделала страшного шума. Жена удивленно взглянула на меня:

— Что с тобой?

Я полез за ложкой под стол и оттуда сослался на внезапное колотье в боку. Я не хотел сразу огорошивать Веру истиной, но попал из Сциллы в Харибду: жена обеспокоилась, разволновалась, и затем все пошло по обычной, издавна выработанной программе: сначала полились советы с указанием, что они давались и раньше, затем начались сетования, что я ужасно беспечен, никогда не слушаюсь разумных советов, не берегу себя, нисколько не забочусь о семье. Наконец жена, ощутив в себе дар пророчества, предрекла, что я умру и не далее, как сегодня вечером и, сама пораженная ужасом этого предсказания, ударилась в слезы.

Обыкновенно я не отношусь равнодушно к ее горю; понимая даже, что оно, как в данном случае, бессмысленно и эгоистично, я не могу не быть признательным за то, что в чувствах жены моя персона отождествляется с ее собственной, и мои страдания (даже фиктивные) делаются ее страданиями. Последнее, правда, меня несколько мучило, но сердиться за это я не мог. Поэтому, когда жена начинала плакать, я обыкновенно брал ее головку в свое распоряжение и разными, тоже издавна выработанными приемами успокаивал эту глупенькую головку. Но теперь я сидел истуканом и, болтая ложкой в стакане чая, думал:

— Ну, чего она плачет? Что значит ей ничтожное горе при сравнении с участью, ожидающей и нас, и всех людей, все живущее на земле, весь земной шар? Не утка ли, однако, это?

Я опять взял газету. Нет, известие официальное. Но почему не сказано, когда будет столкновение? И потом, что значит «приблизительно»? Может быть, астрономы заблуждаются? Может быть, в вычислениях вкралась ошибка? И зачем она так сильно плачет?

Я встал и подошел к Вере, с которой от моего равнодушия сделалась уж истерика. На этот раз пришлось применять выработанные практикой приемы успокоения несколько дольше и интенсивнее.

Наконец жена немного успокоилась и, все еще всхлипывая, произнесла просительно:

— Возьми сегодня теплое пальто.

Было начало июня, и термометр Реомюра уже сейчас показывал +17° в тени. Я попробовал было указать на это, прельщал жену тем, что в настоящую минуту на дворе теплее, чем в комнате, что я поеду внутри вагона, а не на империале, наконец, страшал ее, что вспотею от теплого пальто и, сняв его, сейчас же простужусь на сквозняке. Ах, я надеялся на логику, но она, бедная, оказалась бессильной, как и всегда, впрочем, когда встречается с предрассудком! Жена упрямо водила лицом от плеча к плечу, что, как известно, имеет у нас значение решительного отрицания, и повторяла:

— Нет, нет, пожалуйста! А то я буду бояться, что ты захвораешь. Может собраться дождь.

Действительно, совершенно безоблачное небо заставляло ожидать с минуты на минуту дождя. Уступка, однако, была сделана: жена уже не прорицала категорически, что я заболею, а кротко заявляла, что будет бояться. Что ж было делать? Я предал себя в руки судьбы, надеясь, что, авось, моя счастливая звезда спасет меня от воспаления легких. Впрочем, стоило ли спорить о таком пустяке? Жить ведь все равно не долго осталось.

Продолжать пить чай представлялось тоже бесцельным занятием. Я оделся, надел теплые пальто и отправился на службу.

Проходя по двору, я заметил, что детишки нашли в песке ямку и сажали туда лягушат, и сделал строгий запрос, зачем они возятся с такой пакостью. Но моя собственная девица, усердно посыпавшая песком узников, замахала на меня ручкой и озабоченно пролепетала:

— Не месяц, папа; это нам нужно для хозяйства.

Перед таким доводом пришлось умолкнуть. Я поцеловал крошечную хозяйку, к чему она, поглощенная более важными интересами, отнеслась крайне равнодушно, и направился своим путем.

Не дойдя еще до рожицы на Болотной улице, я почувствовал, что начинаю таять, и у меня возникло опасение, что, по прибытии на службу, от меня останется лишь небольшое облако пара в теплом пальто. Такой результат

предохранительных мер от простуды не входил ни в мои виды, ни в расчеты жены, а потому я сейчас же сбросил пальто, а в поезде сел на империал, желая выразить этими действиями решительный протест против совершенно надо мной нравственного насилия. Притом, несмотря на предстоящую близкую гибель, я не хотел преждевременно окончить дни свои самоубийством и предстать перед кометой в виде пара или, в лучшем случае, тушеного мяса с гарниром из полотна, сукна, ваты и т.п.

А кругом все так стремилось жить, развиваться! Деревья уже надели свой зеленый плащ и стояли такие радостные, нарядные; на огородах тоже начала проглядывать зелень, любопытно высунувшая свои ростки на воздух: «Дай, мол посмотрю, как там у них на Земле, все ли в порядке!» Воздух, такой чистый, свежий, заставлял кровь сильнее обращаться в жилах и пробуждал в организме ощущение жизнерадостности. Яркое солнце вызвало отовсюду ребятшек на двор, даже на улицу, и они с оживленным, но самым серьезным видом занимались здесь разными подведомственными им делами. Одним словом, ничто в окружавшем меня великолепии природы не вязалось с мыслью о смерти.

Я оглядел небосклон; нет, не видно ничего подозрительного. Чистое, без малейшего облачка небо, ярко-голубым шатром окружавшее нас, всегда великолепное, всегда одинаковое, говорило, пожалуй, о бесконечности жизни, но никак не о близком конце ее.

А между тем где-то далеко, далеко, в этом самом голубом небе, на громадном от нас расстоянии была незаметная пока точка, приближавшаяся с невероятной быстротой и несшая мгновенную смерть всему человечеству, всей его современной культуре и цивилизации, так долго и с таким трудом вырабатывавшимся. Это говорят астрономы, а они — народ обстоятельный.

Несмотря на радостное утро, я опять почувствовал холодный ужас.

II

Паровая конка везла на этот раз прескверно; к тому же я, чтобы рассеять угнетенное состояние духа, прошел остальной путь пешком. Средство это, по обыкновению, помогло, но я опоздал и, явившись в правление железной дороги, где служил, уже застал там почти всех товарищей. Начальства, однако, еще не было, и они немножко отлынивали от работы, занимаясь душеспасительными разговорами о разных пустяках и, между прочим, о политическом положении Европы.

Ах, вот я дорвался! Дайте отвести душу!

Трудно даже представить себе, сколько у нас страстных политиков и, главным образом, среди тех, кто не может иметь никакого влияния на политику и кого, говоря правду, и подпустить к ней нельзя. Если бы дело заключалось лишь в желании знать, что происходит на Божьем свете, в стремлении извлекать из этого знания известные выгоды! Но нет! Люди с пеной у рта спорят о возможном, чаще даже невозможном положении международных отношений, беспокоятся, почему Франция уступила Англии, пророчат войну между государствами, находящимися в самых дружественных между собою отношениях, и все пересыпают скромным:

— Нет, если бы меня спросили...

Все забывают эти люди: и то, что им известно лишь незначительное меньшинство фактов, и то, что и эти известия они получают из вторых, третьих рук, часто искаженные, иногда совершенно ложные, и то, что политика — искусство, требующее некоторого все-таки приспособления и обучения, что свежему человеку, будь он хоть гений, даже не разобраться в массе сталкивающихся и часто противоречащих друг другу интересов, вытекающих из взаимных соотношений с разными державами и меняющихся всякий раз, когда меняются эти соотношения. Все это для них пустяки!

— Нет, если бы меня спросили...

Всего страннее, что у этих политических добровольцев, так сказать, никогда не заслужит внимания великодушный политический шаг, важный факт в области государственной культуры, вообще никакое политическое мероприятие, которое не сделано с территориальными приобретениями. Вот грубый захват, вопиющее нарушение международного права, — это хорошо, это как следует! И надо посмотреть на них, когда с блестящими глазами и раскрасневшимся лицом восторгаются они подобными фактами! Но это только тогда, когда поступает таким образом государство, к которому политические добровольцы питают расположение. Но пусть только попробует стать на этот путь страна, не пользующаяся их симпатиями! О! Гром и молния, сорок миллиардов чертей, рыканье льва из мышинной норки и грозное хрюканье свиньи!

Вы, пожалуй, сделаете большие глаза и скажете: ну, чего ты так кипятишься? Они, мол, продукт среды и не виноваты в своей мании; да и проявление последней так безобидно и безвредно. Пусть себе разговаривают на здоровье!

Да, вы так, может быть, скажете, но лучше бы вы так не говорили!

Вот то-то и скверно, что они, эти доморощенные политики, — продукта среды, верные последователи ее низменных стремлений, а не посторонние ей элементы. И вовсе они не так уж безобидны и безвредны! О, если б они только разговаривали! Но ведь из них составила Бисмарковская партия, ведь это они рукоплескали Чемберлену и оправдывали своими овациями затеянную им войну с Трансваалем! Если бы еще Чемберлен и сочувствующие ему пошли сами на войну в первых рядах войска! Их бы перебили, и война сейчас же окончилась бы к общему удовольствию. Но нет! Чемберлены, Родсы, Деруледы, Киплинги предпочитают стоять издали, руководить и поддерживать мужество, как они говорят, а подставлять лбы должны другие, обыкновенно вовсе не сочувствующие идее войны.

О, политические Тартюфы, международные бравы, пусть вас расшибет кометой! Если мало одной, пусть прилетят две, три, десяток, сотня!

Разговор шел в таком именно тоне политики кустарного производства, когда я вошел в комнату. Вступить в беседу я не решился, не зная сути деда, хотя вообще это совсем даже не стесняет политиков высшей школы, занимающих места от канцелярского писца до столоначальника. Впрочем, зачем им суть дела, если они могут читать даже между строк?

Вскоре, однако, беседа перешла на личную почву; один из разговаривавших, бывший о себе очень высокого мнения, которое не разделялось, однако, никем другим, нечаянно сострил. Другой, патентованный остряк, живо обернулся к нему:

— Позвольте, позвольте!

А потом добавил разочарованно:

— Ах, как жаль, что я не видел сейчас вашего лица!

— Зачем вам мое лицо? — спросил тот несколько смущенно, не ожидая ничего хорошего от такого желания.

— Чтобы судить, сострили вы сейчас или нет.

Раздался смех.

— Разве Антон Викторович острил? — вмешался третий.

— Да, — серьезно заметил патентованный остряк, иногда обнаруживает похвальное стремление и даже, представьте себе, уверен, дьявольски уверен, что действительно острил.

Антон Викторович покраснел и хотел что-то сказать, но тут вмешался Бахметьев, просматривавший газету:

— Вот так штука! Послушайте-ка!

И он прочел извещение Пулковской обсерватории.

Сначала оно не произвело ожидаемого мною эффекта; слушавшие, благодаря форме, в какую было облечено извещение, не сразу сообразили, в чем дело, а один даже сказал:

— О, это очень интересное зрелище; я раз видел комету.

Антон Викторович глубокомысленно прибавил:

— Только, если маленькая, и смотреть не стоит.

Бахметьев немножко рассвирепел:

— Да вы не вслушались, должно быть, или не понимаете, в чем суть: произойдет столкновение Земли с этой кометой, и результатом должна быть общая гибель!

Воцарилось гробовое молчание; некоторые, более осведомленные, успели уже понять ужас положения, а остальные были поражены тоном Бахметьева. Наконец, один из последних, придя в себя, робко спросил:

— Почему же гибель?

— А что, но вашему, может случиться с пассажирами двух поездов, летящих навстречу друг другу со скоростью, положим, 1000 верст в минуту?

Разъяснение Бахметьева произвело надлежащий эффект: все мы оказались достаточно осведомленными в поставленном им вопросе.

Большинство, однако, никак не хотело примириться с мыслью о близкой смерти. И вот один из этого непокорного большинства вдруг заметил с важным видом:

— Не думаю, чтобы столкновение было так опасно: я читал, что кометы обладают ничтожною плотностью. Если мы и столкнемся с кометой, то это все равно, как если бы поезд встретил рой мошек или комаров.

Тут я вступился за честь комет, находя, что их обижают:

— Да, единственная надежда на это: если масса кометы так не плотна, что не проникнет в земную атмосферу, то все, конечно, обойдется одним страхом. Потрепетать чуть-чуть, может быть, даже полезно; иные моралисты так прямо и говорят: трепещи, и благо тебе будет; но будешь ли долголетен, этого они не утверждают.

— Бросьте вы моралистов, — вмешался патентованный остряк, — ненадежный они народ; лучше уж о кометах.

— О, неблагодарный! Его поучают, а он в сторону! Ну, будем о кометах. Есть некоторые из них с ядрами, весьма-таки массивными, и при ударе такого мячика пустяками не отделаешься. Если, далее, настоящего удара не будет, то все-таки в пределах громадного района, пожалуй, целого полушария, прольется с неба сверхъестественный огненный дождь, и все живущее на этом полушарии, от растения до

человека включительно, все, способное сгореть, испарится от температуры в несколько сот или даже тысяч градусов, все это испытает участь горшую, чем участь жителей Содома и Гоморры. Другому полушарию тоже не поздоровится, ему придется испытать небывалую бурю, страшный ураган, ниспровергающий дома, необычайное волнение на океанах, грозящее гибелью судам...

Кто это говорит? Неужели я, с таким подозрением относящийся к высокому стилю? Однако, что делает комета: она еще за миллионы миль, а я уже дошел до пафоса! Ну, мне сейчас влетело.

— Уф! — заявил остряк и даже вытер лоб платком. — Очень вы это чувствительно. Одного я в толк не возьму: ведь жители Содома и Гоморры сгорели и, надо думать, на медленном огне. Какая же горшая, по вашему великолепному выражению, участь может постигнуть нас?

Какая, в самом деле, горшая участь? Это я так сболтнул, а он привязывается. Но надо выпутываться, и я шутиливо замечаю:

— Ну что ж, они сгорели на медленном огне, а мы медленно потонем.

Тут меня выручает Бахметьев: ему честь кометы чуть ли не дороже, чем мне:

— И очень даже просто, что потонем, кто быстро, кто медленно. Я где-то читал остроумную и очень основательную гипотезу. У всех народов есть, как вам известно, воспоминание о всемирном потопе. Что это значит? Откуда потоп? Почему потоп? И почему он захватил всю землю? Ни одно из известных нам физических явлений не в состоянии произвести ничего подобного.

— А землетрясения — перебил его Антон Викторович.

— Что землетрясения! Самые страшные из них не производили и сотой доли тех ужасов, что рисует нам история о всемирном потопе. Единственное, что могло произвести такой потоп, это столкновение нашей Земли с другим значительным телом; тогда воды океанов должны были хлынуть на материки и покрыть их до вершин гор.

— Ну, хорошо! А где же это тело, которое произвело потоп?

— Боже, что за пруть! — недовольным тоном возразил Бахметьев. — А вы не торопитесь: я сейчас хотел об этом сказать. Автор гипотезы сильно подозревает Австралию: растения, животные, даже птицы, все на ней иное, не такое, как на других материках. Как это могло случиться? Почему такое странное несоответствие животных и растительных форм? И вот для меня, как и для автора гипотезы, представляется очень и очень правдоподобной мысль, что всемирный потоп произошел в ту именно минуту, когда Австралия, до того времени вольный сын эфира, врезалась в нашу планету и из номада превратилась в оседлого жителя.

Вот, вот оно, влияние кометы: и Бахметьев заговорил высоким слогом! А он, не смущаясь, продолжает:

— И вот, вообразите себе положение кучки людей где-нибудь на вершине острого утеса: без пищи, может быть, почти без одежды лепятся они на единственном оставшемся у них клочке твердой земли, ежеминутно ожидая, что или ураган снесет их в море, или оно само, не дожидаясь чужой помощи, смочит их всех, как ничтожные песчинки. Это положение, по-моему, ужаснее участи Содома и Гоморры; там погорели полчаса, много час, и дело конечно, а здесь мучение тянулось бы несколько часов, может быть, несколько дней.

Он замолчал. Товарищи наши давно уже завяли и с горя принялись за работу, тем более, что явилось начальство, т. е., собственно говоря, не начальство, а его уши.

Так прошло некоторое время. Работа, видимо, не спорилась. Наконец, кто-то не утерпел и спросил уши начальства, известно ли им о новой новости. Уши отвечали, что ничего не знают. Тогда им было подробно сообщено, и они очень заинтересовались и даже испугались. Это обстоятельство дало смелость и другим вступить в общий разговор. Тот, кто первым упомянул о массе комет, неисправимый оптимист, заметил:

— Возможен, однако, и вполне счастливый исход: комета будет, например, отвлечена со своего пути притяжением другой планеты, и тогда она не встретится с Землей.

Такой оптимизм вывел меня из терпения: он, очевидно, всячески уклонялся от столкновения. Вежливым, но едким тоном я возразил:

— Да, Иван Егорыч, это возможно. Но, с другой стороны, вероятно еще более ужасная катастрофа: столкновение может быть настолько сильно, что Земля остановится на мгновение в своем поступательном движении вокруг Солнца; тогда его притяжение возьмет верх над центробежной силой, и мы упадем на Солнце.

— Утешительно, во всяком случае, то, — подбавил Бахметьев, — что мы явимся туда уже в газообразном оостоянии.

Не знаю, насколько я был прав в таком до героизма смелом предположении, но разговор прекратился; даже Иван Егорыч приуныл.

Уходя со службы, я встретил на лестнице одного из товарищей, предававшегося изредка легкому запою. Он ушел много раньше и в настоящую минуту уже плоховато владел речью, но, неизвестно почему, упрямо стремился в правление.

— Что это вы, Тихон Петрович? — обратился я к нему, отвечая на его рукопожатие.

— Ах, Николай Николаевич, тоска взяла и помирать никому не хочется,

Он подумал с минуту.

— Только все это пустяки вы там говорили. Никакой такой кометы нет и не будет!

Он поднялся было по лестнице, но потом опять спустился ко мне в раздевальную и конфиденциально прошептал, обдавая меня запахом сивухи:

— Не ссудите ли двугривенный до двадцатого? Отдам наверно, коли жив буду.

Обыкновенно я отказывал, зная по опыту, что запой Тихона Петровича прекращается лишь вместе с истощением средств к выпивке, но теперь без разговоров дал про-

симуму. Тихон Петрович расшаркался и приложил руку к сердцу, потом захватил на рукав немножко известки со стены, а затем ударился в сторону ближайшей винной лавки.

Когда я вышел на улицу, то мне показалось, будто стало гораздо темнее, хотя солнце светило так же ярко и небо было так же безоблачно, как и утром.

Я вспомнил, что испытывал такое же ощущение, когда, бывало, выходил из гимназии после ареста при ней за какое-нибудь ужасное преступление. Дома ждала меня гроза, и мне все кругом представлялось словно потемневшим. Было так пустынно, и тени тянулись такие длинные, длинные. Я брел домой нехотя и рад был бы свернуть куда-либо в сторону. Но если тогда мне только казалось, что свернуть никак нельзя, то теперь я знал это наверное. Это было ужасно обидно; и тем обиднее было видеть беспечность, с которой прыгали на панели два воробья, а кошка смотрела на них из окна со страстным вожделением и издавала какие-то свистящие внуки.

III

Когда я возвращался домой, на конке уже слышались разговоры о комете. Время от времени прорывались отчаянные нотки; так, один из пассажиров, которому сосед объяснил сущность астрономического известия, вдруг страшно побледнел, вскочил, поглядел на небо, а потом вдруг как зарыдает. Это смутило самых храбрых, и никто не пытался даже успокоить рыдавшего. Да и что можно было сказать ему? Высказать недоверие к известию? Но астрономы, очевидно, настолько зарекомендовали свою точность и добросовестность, что ни у кого в нашем, по крайней мере, вагоне не повернулся язык выразить сомнение. Даже сидевший рядом со мною лавочник не выразил его, а только покивал головой и заявил:

— Никто, как Бог!

Дамы, которые давно уже прикладывали платочки к глазам (не все, впрочем), ухватились за слова моего соседа и тоже высказали упование на Бога.

Этот последний, но очень важный ресурс, видимо, поднял настроение и даже самому рыдавшему придал духу. Он мог, наконец, заметить, что уж давно проехал то место, где ему следовало сойти. Наорав по этому случаю на кондуктора (это ведь постоянные козлы отпущения за чужие грехи), он слез, но, отойдя немного, остановился и стал внимательно осматривать небо. Это вызвало кой-где смех, и настроение еще поднялось; действительно, нельзя было без смеха смотреть, как он, задрав голову кверху, обводил глазами небосклон, а затем пожал плечами и высморкался двумя пальцами.

Придя домой, я был встречен вопросом жены:

— Как же ты себя чувствуешь?

— Благодаря пальто, очень скверно.

— Ну, что ты шутишь! Тебе, наверное, совсем не было жарко,

Я указал ей на мокрый лоб (следствие пройденного в пальто расстояния лишь от конки до дому и притом рощицею, в тени), но других доводов приводить не стал; это было бесполезно, настолько бесполезно, что жена не замедлила воскликнуть радостным голосом:

— А зато ты не простудился!

Оставалось только пожать плечами и сесть обедать.

После обеда ко мне, по обыкновению, зашел Бахметьев. Мы относились друг к другу совершенно непринужденно; поэтому я, взяв газету, улегся на балконе, а Бахметьев сначала пошел в сад к Вере, но потом явился тоже на балкон с тайным намерением помешать мне читать. Но сначала он, как путный, стал терзать свою бородку будто бы в задумчивости; наконец, не вытерпел:

— Ну, что ж вы об этом думаете?

— О чем? — спросил я, прилаживая поудобнее необъятную газетную простыню.

— Да вот насчет кометы.

— Что ж я могу думать? Загремим в преисподнюю.

Наступило молчание; потом Бахметьев лениво процедил:

— Да, я то же думаю.

Опять молчание, и бородка предается усиленным попыткам.

— Странное ощущение, — начал снова мой собеседник. — Мне все как-то не верится, что должна наступить гибель, а в то же время нет-нет, да и пробежит по телу ледяная струйка, и вдруг станет страшно умирать.

Опять помолчали, но Бахметьев еще не отказался от роли следователя:

— А вы что испытываете?

Мне совсем не хотелось говорить и, особенно, на эту тему; я пробурчал:

— Я, напротив, чувствую жаркую струйку, осложненную действием горячего супа.

Бахметьев улыбается, но, видимо, не удовлетворен.

Из сада доносится голос Нины:

— А где Коля?

— На балконе с Александр Герасимычем, — отвечает голос Веры.

Нина является на балкон.

— Пойдем к нам, лежебоки!

Это была неправда, ибо нельзя назвать человека лежебокой только за то, что он углубится в бездны европейской политики; притом Бахметьев вовсе не лежал, а сидел комфортабельно в кресле, положив ноги на стул. Да, у женщин нет ни логики, ни точности в определениях, но... у них часто бывают красивые ножки, а это гораздо важнее.

Я, но обыкновенно, поцеловал Нину в знак приветствия и торжественно возгласил:

— К чему, о женщина, должны мы оставлять свои удобные места?

— Ну, нечего разговаривать! Петя сегодня дома, и мы немножко побесимся; давно ведь не приходилось.

Я спустил ноги с дивана, но медлил; оно хорошо — побеситься, но как будто я был не в расположении; с другой стороны, Петя редко бывал свободен, ибо постоянно при-

носил себя в жертву губителям драматического искусства и, сверх того, состоял режиссером в одном из летних садов.

Нина, видя мою нерешительность, хватает меня за ноги и тащит с дивана. Не ожидая такого коварства, я не защищаюсь и грузно шлепаюсь на пол; затем, сидя на полу, задумчиво произношу:

— Пожалуй, пойдем. Только в винт не хочу сегодня.

— Ладно. Вера, идем! — кричит радостно Нина.

— Сейчас, — пищит где-то жена.

Мы направляемся в другой конец двора. Петя уже взволнован:

— Чего вы там прохлаждались?

Из разных комнат выползает еще народ. Мы поем, шутим, выкидываем разные коленца, в которых Петя и первый мастер, и первый зачинщик; мы с ним танцуем *pas de deux*, танец диких кафров или папуасов (в точности не могу сказать, тем более, что это было нечто невообразимое), поем военную песнь команчей. Наконец, призываем к ответу четырехлетнего Шурку, Петиного наследника.

— Ты что ж не поешь?

— Я не могу: у меня лотик маленький.

Это справедливо, ибо мы ужасно широко разеваем рты, когда поем. Наблюдательность и логика у мальчугана замечательные!

Шурка еще раз отличается: отец наливает ему вина; он отпивает немного, поднимает рюмку к глазу и важно заявляет:

— Вино плевосходное!

Это производит фурор. Мы раздражаемся хохотом, а Вера не упускает столь удобного случая наделить Шурку ласками, которые кажутся ему совсем бесполезными и излишними; но он стойко переносит их и только хлопает глазами.

Наконец, Шурке дают легкого шлепка, и он, помимо, впрочем, желания, отправляется спать. С ним исчезает моя веселость. Бахметьев тоже увядает и наконец спрашивает Нину, боится ли она смерти. Нина удивляется столь сног-

сшибательному вопросу: она очень боится, но зачем ему понадобилось это знать?

Оказывается, что ни она, ни Петя и вообще никто, кроме нас двоих, ничего еще не знают о комете.

Узнав о предстоящем крахе Земли, наше общество цепенеет; между нами проносится ледяное дыхание смерти, и мы погружаемся в бездну отчаяния. Женщины, как и следовало ожидать, начинают хныкать; мы мужественно крепимся, но не чувствуем себя от этого лучше.

Наконец, я встаю и приглашаю Веру домой.

Обыкновенно мы прощаемся сердечно, желая выразить в прощальном поцелуе все сожаление, которое чувствуем при разлуке, но на этот раз как бы исполняем формальность. Мы не охладели друг к другу, — я это чувствую, — но слишком заняты мыслью о предстоящей катастрофе, и перед этой мыслью блекнут все чувства: и добрые, и злые.

Возвратясь домой, я переживаю отвратительнейшую ночь.

Жена еще больше разрыдалась:

— Господи, Господи, как же это? Неужто умирать так рано?

Я держался пока крепко и утешал Веру:

— Перестань, голубка; разве ты — дитя малое?

— И Маня, этот маленький ангельчик, тоже умрет!

— Ей-то лучше всех: она и не заметит ничего, если мы не покажем вида.

Такие утешения не достигают, конечно, цели, и Вера плачет, пока не засыпает у меня на плече.

Я завидую ей, но не могу уснуть: призрак неизбежной и близкой смерти стоит передо мною, и я чувствую холод, ледяющий мое сердце. Ужас наполняет все мое существо. Стараюсь отвлечь себя, но мысль упорно поворачивается к тому же пункту.

Я осторожно кладу голову Веры на подушку, встаю и подхожу к окну. На дворе белая ночь, но на юге блестит несколько звездочек, и мне теперь кажется, что это от них, вечно бесстрастных, исходит тот холод, который проникает меня до мозга костей и вызывает ощущение полной безо-

традности; он замораживает мою душу, и я утрачиваю стремление к жизни: самоубийство представляется мне теперь совершенно логичным актом; даже более! — оно мне кажется желательным, потому вмиг бы разрешило все вопросы и уничтожило бы мучительнейшее состояние абсолютной безнадежности.

Я выхожу в столовую, зажигаю лампу и в десятый, кажется, раз принимаюсь читать «Мир, как воля и представление» в переводе Фета. О, это гигантская работа, подвиг из ряда вон!

Я никогда не мог понять, что хочет сказать переводчик, а того, что думал сказать автор, я и не пытался исследовать. Я не могу понять Фета и теперь, но трогательное зрелище борьбы его со смыслом слов Шопенгауэра, борьбы, в которой последний далеко не всегда остается победителем, утомляет, наконец, мой мозг; я иду в спальню и засыпаю тяжелым сном.

IV

На следующее утро я проснулся с такой же тяжелой головой и с тем же чувством безотрадности, с какими заснул. Тем не менее, я произвел все обычные действия и, по обыкновению же, за чаем углубился в только что принесенную газету. В ней было помещено интервью ее репортера с секретарем Пулковской обсерватории.

Вот оно во всей его дословной прелести:

«— Вчера было напечатано сообщение Пулковской обсерватории, что появилась комета, которая пересечет земную орбиту приблизительно в то время, когда Земля будет в пункте пересечения. Верно ли это известие?»

Я говорю с ученым секретарем Пулковской обсерватории. Он жестом предлагает мне сесть и отвечает на мой вопрос:

— Да, известие это совершенно верно.

— Значит, произойдет столкновение?

— Ответить на этот вопрос категорически еще нельзя, тем более что комета может отклониться по какой-либо причине от своего теперешнего пути; но, судя по вычисленным данным, столкновение возможно.

— Когда же?

— В конце текущего июня.

— Так скоро? Почему же мы не видим до сих пор этой кометы?

— В наши трубы она видна хорошо, но невооруженным глазом ее заметить пока нельзя: она — невелика и с маленьким хвостом. Теперь комета, постоянно ускоряя движение, приближается к области Марса, и через несколько дней ее можно было бы видеть простым глазом, если бы не мешали наши белые ночи.

— Находите ли вы, что столкновение грозит Земле опасностью?

— Относительно этого у нас мнения разделяются: одни полагают, что столкновение может повредить только комете, так как плотность комет вообще совершенно ничтожна сравнительно с плотностью Земли. Другие указывают на то, что мы, в сущности, очень мало знакомы со строением комет и что притом небесное тело, которое интересует нас в данную минуту, отличается, по-видимому, при малом объеме очень большой плотностью. Поэтому трудно отрицать, что при столкновении с ним нашей планете может грозить некоторая опасность и особенно в том районе, который подвергнется удару.

— А где именно это будет?

— Вычисления заставляют предполагать, что удар постигнет северное полушарие и, вероятнее всего, местности внутри полярного круга. Это представлялось бы самым благоприятным исходом: но возможно, что центр столкновения придется, например, на этом столе.

И он с шутливой улыбкой стукнул рукой по столу; но меня даже в жар бросило от этой шутки.

— Теперь, если позволите, еще один вопрос: почему обсерватория решилась опубликовать и так заблаговременно

известие столь чрезвычайной важности? Ведь это может породить в народе смятение.

— Ну, это едва ли: если и может быть смятение, то разве душевное. Впрочем, сообщение сделано нами с ведома и согласия правительства, которое не нашло возможным скрывать истину во избежание вполне справедливых упреков, особенно со стороны людей религиозных. Во всяком случае, дальнейшее сохранение тайны невозможно уже потому, что получены телеграммы от других обсерваторий с теми же данными и, может быть, в пришедших сегодня зарубежных газетах уже имеются сведения, сообщенные нами вчера.

Я поблагодарил г. секретаря за оказанную мне любезность и удалился с твердым намерением скорее исчезнуть из Петербурга».

Далее газета приводила кой-какие сведения о кометах, взятые, главным образом, у Фламариона (он считается у нас почему-то особым докой по части небесных светил), и в заключение давала совет не отчаиваться, а выждать некоторое время и, если позднейшие наблюдения и вычисления подтвердят слова интервьюированного астронома, то уехать заблаговременно куда-нибудь в южное полушарие.

Когда я отправился на службу, то на конке только и разговору было, что о комете. Говорили, впрочем, преимущественно пассажиры, одетые в платье европейского образца; простой же народ больше слушал, молчал и вздыхал; вообще он и впоследствии как-то пассивно относился (наружно, по крайней мере) к мысли о предстоящей катастрофе, фаталистически примиряясь с нею, но и розовых надежд не высказывал.

Оказалось, что интервью, подобные прочитанному мною, были помещены и в других газетах, и, благодаря им, общий тон разговоров о комете был скорее оптимистический; ссылались особенно на слова астронома, что возможно отклонение кометы от ее пути, и высказывали очень твердые на это надежды.

То же настроение и те же упования я нашел и у товарищей по службе. Особенно торжествовал Иван Егорыч. Он, как только явился в правление, сейчас же подошел ко мне и важно заявил:

— Ну, вот видите, Николай Николаевич, я вам говорил вчера! Разве не по-моему вышло? Вовсе нет еще причин отчаиваться в счастливом исходе.

Я пожал плечами, но не стал разубеждать счастливицу, и он пошел гоголем, радуясь, что слова его хоть отчасти подтверждены астрономом. Впрочем, и Ивану Егорычу, и другим оптимистам было все-таки не по себе, если кто-либо, хотя бы в шутку, принимался рисовать разные ужасы.

В общем, однако, народ повеселел. Я сам, когда первое впечатление выдохлось и нервам надоело тревожиться, поставил себе вопрос: стоит ли изводить себя преждевременно? И немедленно ответил: не стоит. Во первых, возможно отклонение кометы от ее теперешнего пути, возможно, что удар поразит местность, отдаленную от нас, возможно что и удар-то будет жиденский. Но возьмем самый неблагоприятный случай. Что ж! Умереть рано ли, поздно ли все равно придется, а тут лишь несколькими годами раньше, может быть, даже несколькими днями только! Все ведь под Богом ходим, и не знаешь ни дня, ни часа, когда придется рассчитаться с жизнью. Но разлука с нею неизбежна и значит, все дело лишь в тех мучениях, которые перенесешь при столкновении. Они, однако, должны быть кратковременны; никто притом не помешает, если не будет спасения, закончить свою жизнь самостоятельно до прибытия кометы и без ее благосклонного содействия.

И странное дело: эти пустые, в сущности, соображения как будто успокоили меня. Может быть, я бессознательно лицемерил перед самим собой, но результат получился желательный.

Во всяком случае, все другие злобы дня на время были отодвинуты в сторону. В газетах писали только о комете, по поводу кометы, за комету, против кометы и склоняли это слово во всех падежах и числах. Появились посвященные комете и вызванным ею настроениям рассказы Лейкина,

Грузинского и других. Комету стали, наконец, пробирать и в юмористических журналах.

Одна сценка очень понравилась мне по своеобразному взгляду автора на комету, как на нарушительницу общественной тишины и спокойствия. На первой картинке комета в образе ведьмы на помеле летит к Земле; городской повелительно машет ей рукой:

— Проходи, проходи! Не задерживаться!

Сзади мастеровой в пьяном виде, держится за фонарь (трудно бедному!) и бормочет:

— Пшла, анафема! Всякую нечисть сюда!

Картинка вторая: ведьма добралась-таки до Земли.

Городовой (выгалкивая ее в шею). Куда лезешь, дьявол! Честью ведь просят.

Мастеровой (злорадствует). Хи-хи-хи! Так-то вас, шлюх этаких!

На третьей картинке ведьма-комета с покорным видом летит уже в пространстве прочь от Земли; городской, опять при исполнении обязанностей, строго смотрит на пьяного.

Мастеровой. Я, господин городской, помогал ведь вам, тоись вот как перед Богом!

Городовой. Поди лучше, просппись! Ишь, спозаранку нализался!

Мастеровой. Нельзя-с, комета-с. (Вдруг приходит в восторг). Вон она, милая, улепетьвается; так и садит. Улю-люлю-лю!

Вообще комете сильно, должно быть, икалось, если они могут икать.

Везде в киосках, книжных магазинах, на улицах продавали брошюру: «Конец света». Составлена она была бестолково и отличалась больше возвышенностью тона и знаками препинания, чем смыслом. Автор притянул к ответу и Лапласа, и Фальба, и Фламариона, но толку все-таки не вышло; впрочем, это, вероятно, и не интересовало компилятора; гораздо важнее для него было то, что брошюра пошла ходко.

Итак, после первых дней страха все опять пошло своей дорогой, и мы, получив минутную встряску и не извлеки

из нее ничего поучительного, отдались снова обычным, житейским дрызгам.

V

Дня через два после появления интервью с астрономом, утром, когда мы с Верой еще не решили вопроса, следует ли нам вставать, вдруг слышим скрип: дверь приотворяется и отверстие просовывается нос Пети и раздается звучный, так называемый сценический шепот:

— Можно?

— Вали, — машу я рукой.

Появляется Петя весь и в новом костюме.

— Что, каково?

Мы критическим взглядом обзираем его и говорим с видом знатоков:

— Хорошо!

Потом Петя садится с озабоченным видом на кровать:

— Что ж, братцы, горевать-то ведь толку мало: комета еще далеко, да, может, из нее ничего путного и не выйдет. А пить-есть каждый день надо. Так ли я говорю?

— Правильно.

— Вот то-то и есть. Поэтому продолжать спектакли мы будем, и тут-то я вас прихлопну.

— То есть как?

— Да так, что вы мне нужны.

— Для какой такой экстренной надобности?

— В воскресенье идет у меня «Русская свадьба», и мне нужно бы побольше хор. Выручайте друга!

Вера в восторге и начинает высчитывать, кого еще можно привлечь к ответственности. Хор, оказывается, порядочный: Федя, Нина, Володя, Надя, Татьяна Ивановна, Клавдия Петровна. Я, человек практический, охлаждаю ее восторг замечанием:

— Да ведь мы не знаем, что надо петь.

— Это мы устроим, — успокаивает Петя. — Я и Нина знаем все мотивы, и мы пройдем их несколько раз под рояль. А некоторые из них все, наверное, знают: «Славу», например, «Уж я золото хороню».

Их мы, оказывается, тоже знаем, и это преисполняет нас надеждами.

Но надо же что-нибудь выторговать у Пети; я с важным видом говорю ему:

— Только мы с Верой дешево не возьмем.

— Да уж не обижу: разочту по денежке, полушку в придачу.

— Ну, по рукам.

Весь этот день был посвящен разговорам о предстоящем дебюте. Опрошены были все намеченные Верой лица, и все они изъявили свое полное согласие. Только Надя как-то вдруг скисла: она видимо, вовсе не желала, чтобы Володя вращался в обществе барышень.

В свое время наступает и воскресенье. Погода не слишком великолепная, но нам теперь море по колено: мы ведь собираемся играть или, по крайней мере, стоять на сцене настоящего театра. Все в сборе.

Тут начались козни Нади; сейчас она побежала к себе, порылась в сундучке и нашла там болезнь, подержанную, правда, но ничего, сойдет. Тогда она возвращается:

— Поезжайте уж без меня. Мне что-то нездоровится.

Вера даже окрысилась:

— И всегда у тебя не вовремя! Ну, да знаем мы твои болезни! Собирайся лучше!

— Как же я поеду, если больна? Ты Бог знает, что говоришь.

— Ну, если ты больна, то пусть Володя едет.

— Если он хочет, пусть едет.

И испытующий взгляд на Володю. Он, бедняга, в большом затруднении: и ехать ему хочется, и неловко как-то. Наконец, он нерешительно говорит:

— Ну что ж, пожалуй, я поеду.

Молниеносный взгляд и ледяные слова:

— Так. Значить, ты хочешь оставить меня одну, больную?

И вышла королевой. Володя пошел переговорить с нею и не вернулся.

Как бы то ни было, но мы едем и ужасно торопимся; Петя все время должен был унимать наше нетерпение. Бедный! Он ехал на страду, а мы, с позволения сказать, гастролировать.

Наконец-то мы добрались до вожделенного сада. Странно! Никто не устраивает нам торжественной встречи, никто даже — о ужас! — не обращает на нас внимания; собака, рывшаяся невдалеке в куче мусора, и та совершенно пренебрегла нами, хотя в то же время какой-то рабочий, проходивший мимо, заслужил от нее самое лестное к себе отношение: она бросилась за ним и залилась уши раздирающим лаем. Как она орала! Можно было подумать, что ее режут на кусочки.

Наконец пароксизм ярости прошел: рабочий вышел из сферы владения собаки. Она приостановилась на секунду и еще раза два тьякнула резко, отрывисто, потом повернулась и, стоя уже боком к своему антагонисту, чуточку подумала и, медленно ааворотив морду в его сторону, еще раз тьякнули, но уже глухо, как бы в задумчивости. Хотела ли она сказать: «Ну, наплевать»? Или послала прощальный привет? Это навеки осталось для меня тайной.

Вот и здание театра. Спереди он не имеет стен, и мы видим, что занавес поднят, и на сцене несколько человек, которые приветствуют Петю возгласом:

— Что ж ты, братец, опоздал? А еще режиссер называешься. Какой ты нам пример подаешь?

Но Петя строг.

— Ну, вы там, не разговаривать! Запорррю!

И, сделав величественный жест рукой, приглашает нас войти в здание театра.

Поднявшись по деревянной лестнице, мы вступаем в храм Мельпомены и осматриваемся кругом с большим интересом.

Над нами висят длинные, как колбасы, свертки холста, сбоку тот же холст, но на рамах и грубо размалеванный; даже на полу был растянут холст, и по этому холсту рабочий

в замасленном и измазанном краской фартуке водил небрежно толстейшей (с добрый кулак) кистью, чувствительно выводя: «Чудный месяц плывет на-а-ад рекою». Скоро, впрочем, и песня, и холст исчезли, улетучились куда-то, и началась репетиции.

Некоторые актеры говорили свои роли с чувством, некоторые кое-как, небрежно, а премьерша — с пирожками. Это была молодая, далее очень молодая артистка (лет 18-19), крупного сложения и довольно красивая в русском стиле: нос круглый, лицо круглое, щеки круглые, цвет лица прекрасный, чуточку смугловатый, аппетит превосходный.

Петя то говорил свои реплики, то поправлял кого-нибудь из артистов, не дававшего того образа, который сложился в уме у Пети, или надлежащего тона; одну актрису он так разогорчил, что она уселась между кулисами и начала шипеть что-то: она, мол, не раз играла эту роль, и везде, везде ее хвалили; она сама еще может научить и т. д.

Первым и главным моим впечатлением было, что никто не знает роли, и так как это последняя репетиция, то, значит, спектакль пройдет с позором. Ничуть не бывало: во время спектакля все оказались на высоте призвания, и дело шло очень гладко, даже совсем хорошо. Если и были какие-либо недочеты, то в тех частях, на которые я раньше и внимания не обратил: так, бутафор, плюгавый мужичонка с уязвленным самолюбием и красным от пьянства носом, отправился за гитарой и пропал, совсем пропал; так мы и не удостоились видеть его в тот вечер. Пришлось потревожить какую-то антикварную редкость о трех струнах, из которых две издавали какие-то подозрительные звуки, а третья одно время ничего не издавала, но когда ее с осторожностью подтянули, нашла голос загробного тона. Впрочем, публика не обратила внимания на гитару, и все сошло благополучно.

Мы ходили в богатейших кафтанах с некоторыми изъянами, пели тоже с изъянами; кубки звенели, как деревянные, артисты пили из них воздух до дна, но публика этого не знала или не хотела знать и была довольна.

Даже то, что парикмахер, по случаю праздника и за-
пою, не изволил явиться, не повергло никого в отчаяние;
только премьерша хотела было сделать сцену, как это она
будет играть русскую боярышню без косы, но пораздума-
ла, что из ссоры все-таки косы не выйдет, и успокоилась, а
когда успокоилась, то нашла косу у одной из артисток, ве-
ликодушно уступившей ей на время спектакля собствен-
ную привязную. Что касается нас, мужчин, то храбрости
нашей не было пределов, и мы играли бояр XVI столетия
без бород; т. е. на подбородках было что-то напачкано, но
принять это за бороду или хотя бы бородку могло лишь очень
пылкое воображение: вблизи мы выглядели небритыми уж
с месяц.

Дамы наши имели хлопот полон рот; во-первых, при-
мерка платьев, во-вторых, устройство кос, кокошников,
приспособление лент, фаты, но главное: гримировка, гри-
мировка! Сначала их гримировала Нина, потом они побе-
жали мешать Пете, потом Роберту Алексеевичу. И все их на-
мазывали и подмазывали!

Но Феле и этого было мало: она устроилась со своим
зеркалом в уборной и начала еще самостоятельно подво-
дить себе глаза; так как последние у нее и без того с блю-
дечко, то вскоре от Фелиного лица остались только две гро-
мадные черные впадины. Я потом уверял ее, будто в пуб-
лике ужасались: «Смотрите, смотрите, вон глаза в сарафа-
не». Феля сердилась, укоряла меня в преувеличении, но все-
таки несколько уменьшила черные круги вокруг глаз.

В общем, однако, и она, и все наши дамы выглядели
очень мило. Премьерше и Татьяне Ивановн кокошник и
прочее очень шли, и они были типичными русскими боя-
рышнями XVI века и крупного телосложения.

Но Вера в сарафане и кокошнике была просто преле-
стна, так что один из артистов, предполагая, что она сос-
тоит еще в девицах, находился больше возле нее и говорил
ей разные комплименты и даже стихотворения, стараясь
поразить своим даром чтения. Не произведя, однако, ни-
какого эффекта и узнав (как рассказывала потом Вера),
что она замужем, любезный артист, бросив неприязнен-

ный взгляд на мою сравнительно довольно внушительную фигуру, извинился, что ему нужно в буфет, куда и скрылся. Впрочем, если он сделал это из опасения за свои ребра, то совершенно напрасно: несмотря на его высокое мнение о своей наружности, обаятельности и искусстве чтения, я несколько не опасался такого соперника.

Всем вообще театральная деятельность очень понравилась. Мы еще раз гастролировали с большим, по словам Пети, успехом, т. е. не забыли от страха роли, смотрели, куда следовало, и распоряжались руками и ногами почти свободно.

Собирались играть еще; но неуклонное течение событий сразу прекратило наши попытки стать заправскими жрецами Мельпомены.

VI

Сойдя однажды после службы в раздевальную, я встретился с Ниной Сергеевной, моей сослуживицей, но по другому отделу правления. Оказалось, что нам обоим дорога в Лесной, и мы, конечно, отправились вместе.

Сначала перекидывались незначительными замечаниями: похвалили погоду, пожаловались друг другу, что город летом точно в осадном положении: ни пройти, ни проехать; где леса у домов, где мостовая взрыта для починки. Потом Нина Сергеевна ударилась в лирику:

— И подумать, что только еще две-три недели, и все окружающее нас, вся эта роскошная природа, может быть, будет уничтожена совсем, совсем.

— Я считал бы, Нина Сергеевна, более осторожным не употреблять эпитета «роскошная».

— Почему это?

— Какая же в Петербурге роскошная природа?

— Ну, вы — известный скептик. Но все-таки взгляните на Неву и скажите по совести, разве не красивая картина?

Я взглянул на Неву, расстилавшуюся передо мною громадным зеркалом и уходившую налево двумя широкими лентами, взглянул, вздохнул и согласился, что, по совести, красивая картина,

— И, может быть, только недели две жизни или меньше. Ну, что можно сделать в две недели?

Мой скептицизм опять воспрянул.

— А что бы вы сделали в год, в десять лет, даже во всю жизнь? Надо думать, то же, что и в две недели. Разница была бы лишь в количестве испорченной бумаги.

— Ну, как так! Все-таки можно принести какую-нибудь пользу людям.

Я даже усмехнулся.

— Вот превосходное выражение: «какую-нибудь пользу людям». Простите, Нина Сергеевна, но оно живо напомнило мне выдержку из одного судебного акта о сектантах: крестьянин Иванов, возвращаясь из лесу с дровами, вздумал дать себе какое-нибудь душе спасение, почему тут же и распорядился... Ну, остальное неинтересно, а вот главное: вздумал дать себе какое-нибудь душе спасение. Ну, чем это хуже вашей «какой-нибудь пользы людям»?

— Вы все смеетесь надо мною, — рассердилась Нина Сергеевна, — это очень легко, но нелогично и бесцельно.

— Согласен. Но что, по-вашему, не бесцельно?

— Да вот, например... ну, хотя бы стремление быть полезной другим.

— Да-а? Что же дает вам уверенность в том, что именно тот или другой ваш поступок полезен людям? Но допустим, что вы действительно оказываетесь полезной и тому именно, кому следует. Вы видите, Нина Сергеевна, что я отмеряю вам полной рукой.

— Да, да! Что же дальше?!

— Объясните же мне, если можете, к чему эта польза, приносимая в течение не двух недель, а десяти, двадцати, пятидесяти, даже ста лет, если через сто лет все человечество постигнет катастрофа, подобная ожидаемой?

Этот довод оказался для Нины Сергеевны очень сильным, и она не нашла возражений, а только печально скло-

нила головку набок и сказала:

— Ах, вы рисуете очень мрачную картину! Но что же остается людям?

— Как вам сказать? При нормальных условиях нашлось бы много всякого дела; даже и такое, как у нас с вами, имело бы известную ценность, такую же, какой оно обладало недели две тому назад; но теперь, когда мы ждем грозного и беспощадного гостя, нам остается лишь наслаждение всем, что дает жизнь, и наслаждение тем более интенсивное, чем меньше осталось жить.

Некоторое время мы шли молча. Наконец, Нина Сергеевна задумчиво произнесла, точно в ответ на мысленный вопрос:

— Наслаждение! Да, это наиболее логичный вывод. И к чему, в самом деле, считаться с предрассудками, если осталось жить так мало?

При этих словах мое сердце затрепетало от радости. Надо вам знать, что Нина Сергеевна давно правилась мне и знала это, даже сама как будто симпатизировала мне; но ее стесняли «предрассудки», а я находил неудобным бороться против них. Теперь они были похерены, но оставались еще разные условности, известный ритуал, пренебрегать которым при наших еще недостаточно близких отношениях было неосторожно. Поэтому я с мудростью змия начал окольную речь, совершенно будто бы не обратив внимания на последние слова Нины Сергеевны:

— Да и вообще наслаждение — великое благо для нашей монотонной жизни. По моему, только оно и придает ей цену.

— Какое же наслаждение вы считаете таким благом?

О, это был коварный вопрос, хотя задан был, наверное, без всякого злого умысла. Но я избежал подводного камня.

— А хотя бы наслаждение красотами природы. Не думайте, что я так уж нечувствителен к ним. Напротив, в живописи, например, мне особенно нравятся красивые пейзажи. В Петербурге, положим, их нет, но верстах в 30-40 от него, в Финляндии, есть прелестные гористые ландшафты. Вот, например, Токсово; вы там, наверное, бывали.

— Представьте, никак не соберусь, хотя слышала уже не раз самые восторженные отзывы.

— Да, местность очень красивая. Я побывал бы там опять с удовольствием: может быть, никогда уж больше не придется видеть ее. Хотите, поедем туда завтра, благо завтра воскресенье — отдых от работ? Я возьму лошадь у чухонца, и мы великолепно прокатимся.

Нина Сергеевна подумала, потом заявила решительно:

— Хорошо, поедем; я хоть немного развлекусь, Как же нам это устроить?

Пораскинув мозгами, мы решили, что Нина Сергеевна будет ждать меня завтра в 10 час. утра на дороге в Гражданку.

Тут мы подошли к паровой конке; она будто ждала нас; только что мы успели сесть в вагон, послышались трубные звуки, звонок, паровозик запыхтел, и мы поползли.

Я готов был прыгать от радости, но по наружности сохранял полную невозмутимость. Не знаю, что испытывала Нина Сергеевна; могу лишь отметить, что мы оба старательно избегали разных подводных камней и, главное, упоминания о «предрассудках».

VII

На следующий день я вскочил рано и на вопрос жены, куда я тороплюсь, озабоченно сообщил ей, что у меня спешная работа в правлении, и чтобы она не ждала меня к обеду: я закушу в городе.

Вера была очень недовольна, произнесла несколько горячих тирад, выяснявших с богословской и физиологической точек зрения существенную необходимость воскресного отдыха; тем не менее я своевременно поцеловал ее и исчез из дому.

Петя увидел меня с балкона и кричал что-то, чего я не расслышал, но на всякий случай дружелюбно покивал ему

головой в утвердительном смысле и поскорее скрылся за забором.

Ух, какая была погода! Природа хотела, должно быть, скрасить нам последние дни перед смертью и расщедрилась на все медные. Солнце, не то свирепое солнце, которое в полдень пронизывает все своими раскаленными лучами и выскивает, каким бы способом испепелить вас, нет, не то чудовище, а светлый, благодатный Феб. Источник жизненного начала, нежно прикоснулся к коже лица и ласкал ее.

Я с восторгом размышлял о предстоящем удовольствии и окольными дорогами стремился к углу Старопарголовского проспекта и Малой Спасской. Добравшись туда, я немедленно заарендовал у чухонца лошадь на весь день, причем чухонец корчил разные рожи в доказательство того, что взял с меня очень дешево. Это было, однако, гнусное лицемерие, что я ему и высказал, и тогда чухонец попросил у меня на чай, чтобы не скучно было ожидать лошади, как он объяснил свою просьбу.

Я сел в дрожки, хлестнул лошадку, отчего она как будто закачалась, и покатил. Впрочем, это не совсем точное выражение; колеса, положим, катились, пыль поднялась страшная, но подвигался я не слишком уж быстро. Лошадь не уронила своей вековой славы и всячески старалась показать, что ей известна латинская поговорка: *festina lento* (спеши медленно), и что она находит вполне основательной мысль, заключающуюся в этой поговорке. Ну что ж, я примирился; драться вообще не в моем характере, да и спешить не зачем было.

Догнал я свою спутницу уже в Гражданке, помог ей сесть, и мы стали трястись вместе.

— Вы доставили мне двойное удовольствие, — обратился я к Нине Сергеевне, — во первых, своим присутствием, которое действует на меня так благотворно, как живительная роса на истомившееся от жары растение, а во вторых... гм...

— О-о, как высокопарно! Ну, а во-вторых?

— Во вторых, тем, что тележка не так трясет.

— Я-то здесь при чем?

— Вы-то здесь не причем, но вес вашего тела очень даже помогает. Рессоры довольно тугие, и когда я сидел один, то меня изрядно-таки подбрасывало. А теперь вы сами, я думаю, замечаете, что нас не подбрасывает, а так, слегка перетряхивает. Примите мою сердечную благодарность.

Благодарить, однако, было рано: тряска, правда, уменьшилась, но зато с моей стороны рессора подалась настолько, что колесо стало чиркать о крыло тележки. Мне бы это наплевать, но Нина Сергеевна — особа с нервами — стала ежиться и кривить физиономию. Мне было гораздо приятнее вовсе не видеть ее лица, чем видеть его искривленным с прибавлением: «Ах, как это несносно!» Поэтому я сел на облучок и стал показывать Нине Сергеевне, как держатся хорошо вымуштрованные кучера при английской закладке.

Потом, уже за Ручьями, я принялся изображать лихого ямщика, но сколько ни гикал, толку не выходило: подлая лошаденка трусила по-прежнему, презрительно относясь к моим стараниям. Наконец, когда я особенно лихо гикнул, она остановилась и, завернув морду, устремила на меня удивленный глаза: она подумала, наверное подумала, что я тронулся! Меня это так поразило, что я сразу утих.

Тогда начались издевательства со стороны Нины Сергеевны; она нашла, что у меня большой талант в деле гиканья, но что я, вероятно, так и умру не оцененным; во всяком случае, если мне надоеет железнодорожная служба, то поприще ямщика открыто предо мною.

Я со злости возразил ей, что недели через две все поприща, вероятно, будут закрыты и для нее, и для меня. Это замечание повергло Нину Сергеевну в уныние, и я, злорадно усмехнувшись, принялся работать над лошадью, пока она не изобразила наконец нечто вроде галопирующей коровы.

Вскоре, однако, уныние овладело и мною: я вспомнил, что забыл купить каких-либо съестных припасов. В прежние путешествия мы делали обыкновенно привал на середине пути и закусывали. Это было очень приятно, хотя недора-

зумения с лошадьми и вытаскивание дрожек из придорожных канав отнимали часть удовольствия. Теперь этого нельзя было сделать; приходилось ехать до Токсово натошак.

Удрученный мыслью о своей рассеянности, а еще более жестокими упреками моего желудка, я снова принялся работать над лошадью и наконец добился того, что она начала брыкаться. Нина Сергеевна, естественно, обеспокоилась;

— Что вы, Николай Николаевич! Ведь это бесчеловечно! Она выкинет нас из дрожек! Я ужасно жалею, что поехала с вами.

Я так был занят ссорой с желудком, что пропустил мимо ушей это ядовитое замечание, но все-таки предоставил лошади полную свободу махать хвостом и переваливаться с ноги на ногу. Впрочем, теперь уж никакие старания не помогли бы: мы вступили в область холмов и песка. Песок был спереди, сзади, справа, слева, снизу и даже сверху, откуда он являлся благодаря благосклонным усилиям проезжавших мимо крестьян. Подъемы становились все круче, и лошаденка скоро перестала махать хвостом. Это был весьма важный признак, и я тотчас же слез с тележки, передав вожжи Нине Сергеевне.

Так мы тянулись часа два. Где дорога шла под гору или по плоскости, там я подсаживался к Нине Сергеевне, и мы несколько минут медленно спешили; но где был слишком крутой подъем, там и моя спутница спускалась на землю, показывая всякий раз прехорошенькую стройную ножку; один раз я увидел эту ножку почти до колена, и у меня даже потемнело в глазах и что-то закололо не то в сердце, не то в пояснице.

Вообще наш рысак не имел причин жаловаться на нас за негуманное обращение. Я даже пытался поить его в дороге, но, кажется, он испытал больше досады, чем удовольствия.

Наконец мы завидели Токсовские холмы. Это несколько утешило меня, хотя я знал, что ехать осталось еще порядочно. Скоро мы добрались до речонки, кажется, той

самой, что впадает в Неву у Охты и потому называется Охтой; впрочем, может быть, и наоборот. В ней, конечно, полоскались ребятишки. Нина Сергеевна испустила томный вздох и слова:

— Ах, как бы мне хотелось выкупаться!

— За чем же дело стало? Не стесняйтесь: я смотреть не буду.

— Нет уж, не надо. Нет ни полотенца, ни коврика.

И затем, бессознательно подражая крыловской лисе, прибавила:

— Может быть, там пиявки.

— Ну, пиявки едва ли; лягушки, наверное, есть.

— Лягушки?! Ух! Ни за что не стану купаться.

И мы поехали дальше, т. е. поехала только тележка, ибо дорога пошла в гору; мы скромно поплелись сзади.

Но вот мы и в Токсове. Я въезжаю в знакомый мне двор, даю лошади поесть и стремлюсь в лавку. Нахожу там только копченую колбасу, гордо заявившую мне, что она помнит Вейнемейнена и других героев Калевалы.

— А! — сказал я на чистом финском языке, но дальше у меня познаний не хватило, и я продолжал по-русски:

— Тем лучше, матушка, у тебя будет материал для сравнения с современной жизнью.

Одним словом, я не смущаюсь и бесстрашно покупаю целый фунт. Затем приобретаю достаточное количество хлеба, чая, сахара и возвращаюсь назад, к месту стоянки, где путем конфиденциальных переговоров с хозяйкой обеспечиваю себе право на два десятка яиц и крынку молока,

Нина Сергеевна сидит себе скромно в садике и улыбается, глядя на мои старания. Ей хорошо! Она успела дома поесть, как следует! Но да простит ей Аллах, а я приступаю к борьбе с колбасой!

Сначала я выбираю для себя позицию покрепче и вооружаюсь, затем высматриваю у врага место, слабее защищенное, и храбро, можно сказать, очертя голову, бросаюсь на него.

И грянул бой, бой с колбасой!

Копченая деревяшка оказалась сильным противником; но мои зубы впивались в нее с остервенением, мои челюсти мололи, как камнедробильные жернова, и скоро передо мною осталась лишь грудка шелухи. Мой желудок — о, глупый! — перестал ныть. Подожди, что ты скажешь вечером!

Тут поспели и яйца. Но я, поместив в себя фунт финляндского гранита и столько же хлеба, нашел, что нужно дать желудку возможность разобраться в том, что сейчас было поглощено. Мудреная, думаю, была это штука! Одним словом, ни я, ни моя спутница не хотели сейчас есть и, заказав самовар, отправились к Токсовским озерам.

VIII

Вообразите себе широкий гранитный перешеек, с каждой стороны которого уходит вдаль озеро. Одно из них заворачивает налево, и вы за холмами не видите его конца; другое, правое, все, как на ладони, но на противоположном берегу чуть видны какие-то темные и светлые движущиеся точки, и опытные люди говорят, что это коровы и лошади.

Простор необычайный!

И мы стоим на этом перешейке, естественной гранитной плотине, саженьях этак в 25 или более над уровнем озер, любимся широкой водной гладью, рошицами, покрывающими рассеянные всюду холмы, вдыхаем чудесный свежий воздух и всем существом своим чувствуем: ах, самовар бы поскорей!

Ну, делать нечего; мы вернулись, и тут Нина Сергеевна соблаговолила отдать должную дань яйцам и молоку. Я смотрел на нее, радовался и усердно пил чай, который сильно отзывался копоркой; впрочем, это было поделом: не забывай взять припасов в городе, не надейся на токсовскую промышленность и торговлю!

После чая мы, конечно, опять пошли гулять и, конечно, к озерам; выбрали себе местечко поуютнее, я разостлал пальто, и мы уселись, а потом даже разлеглись.

Через несколько минут я привстал, чтобы улечься поудобнее, но взглянул на Нину Сергеевну и... не улегся: очень уж соблазнительными показались мне два антипода ее тела: хорошенькие ножки, выглядывавшие из-под платья, и прелестный полуоткрытый ротик с полными губками; глаза были закрыты.

Я, недолго думая, завладел лежавшей возле меня без всякого дела ручкой и запечатлел на ней почтительный поцелуй. Никакого протеста! Тогда я приложился к ножке, т. е., собственно, к чулку. Опять-таки ничего!

Глазки продолжают быть закрытыми, только веки как будто дрожат.

Я набрался храбрости и, потянувшись, приложился к давно манившим меня губкам. О, восторг! Мне отвечают поцелуем!

Вы находите, что это слишком просто? Что ж делать! Все великие события совершаются самым простым образом.

Дальнейшие подробности для незаинтересованного читателя, пожалуй, излишни. Скажу только, что через час мы уж нацеловались вдоволь и были на «ты», к чему женщины имеют в таких случаях особую склонность; делается это у них так просто, так скоро, что я только удивляюсь, но нимало не возражаю.

А в данном случае я был очарован той безыскусственностью, которую обнаружила теперь моя спутница; достаточно стыдливости, но ни капли жеманства или манерничания, которые с такою щедростью выказывают иные женщины в подобных случаях. А я очень опасался этого, судя по прежнему поведению Нины (я думаю, она простит мне теперь эту фамильярность, логически вытекающую из только что сказанного).

Хорошо сидеть над озером! Но солнце склоняется к западу, и нам пора собираться в обратный путь.

Я говорю об этом Нине, а она прижимается ко мне, как кошечка, охватывает своими прелестными руками мою шею,

вовсе не заслуживающую такого блаженства, и просительно-настойчивым тоном заявляет:

— Нет, посидим еще! Здесь так хорошо.

Я смотрю в ее милые синие глаза и убеждаюсь, что, действительно, хорошо. Коли так, посидим!

Вдруг Нина говорит:

— А как бы ты отнесся к жене, если бы она тебе изменила?

— Да никак! Неприятно было бы, конечно, но долг — платежом красен.

— Но, представь себе: стали бы говорить, что она позорит твоё имя, что ты увенчан рогами...

— Ну, мой друг, можешь не продолжать: я давно уж вырос из этих штанишек.

— Ах ты, невежа!

И она шутливо, но весьма осязательно шлепнула меня своей ручкой. В целях самосохранения я принужден был овладеть этою ручкой и держать ее в плену у губ. Самая крепкая тюрьма!

Да, хорошо было здесь! Так хорошо, что мы и забыли о времени. Но солнце, хоть и косым манером, но все более склонялось к закату и, дойдя до горизонта, остановилось на мгновение и погрозило нам пальцем. Мы заметили строгое внушение и отправились к лошади.

Несколько минут, и расчеты с хозяйкой кончены, лошадь взнуздана, и мы садимся.

Отдохнувшая лошаденка берет нас с места ретиво, и через минуту двор, трактир и все позади скрывается в облаке пыли.

— Жалко уезжать, — говорит Нина, высказывая и мою мысль. Точно мы оставили здесь что-либо дорогое, родное.

Ах, она права: мы оставили здесь самое дорогое, что может быть у человека: минуту счастья.

Я задерживаю нашего Росинанта, и мы еще раз обращаемся назад, к озерам.

Солнце уже зашло.

Нежная, золотисто-алая ткань света, одевшая небосклон на месте заката, производила неизъяснимо-чарующее впечатление.

чатление. С озер потянуло легкою свежестью. Все казалось таким мирным, радостным, все звало жить и наслаждаться жизнью.

И вдруг опять вся местность в моих глазах потемнела. Я даже оглянулся: нет, тучи нигде не видно; даже облачка нет, Это нравственная туча омрачила мою душу.

На обратном пути бывшие подъемы обратились в спуски, лошаденка торопилась домой, и мы приехали в Лесной раньше полуночи.

Сдав лошадь владельцу, не упустившему случая спросить еще раз на чай, я проводил Нину, но не до самого дома, ибо она не хотела, чтобы ее домашние видели нас вместе. Удовольствия от этих проводов я не испытал: везде на лавочках сидели дачники и дачницы, и мы вели себя страсть как чинно. Слова, конечно, мы разные говорили, но и то с опаской. Пришлось поэтому вложить в позднее рукопожатие столько любви, что Нина даже затрясла своей покрасневшей ручкой; но вместо гневного восклицания, которым она, несомненно, наградила бы меня сутками раньше, я получил только ласковое:

— У, милый медведь!

А глаза насказали столько брани, что я почувствовал себя на верху блаженства и, не проходи тут какая-то квадратная мамаша с тремя стройно-худощавыми девицами, я бы так и помял Нину, как настоящий медведь. Но она не знала, от какой ужасной опасности спасло ее это почтенное семейство, и даже проводила его недовольным взглядом.

Когда я вернулся домой, Вера мне сделала нагоняй за позднее возвращение домой, которое нельзя было объяснить работою. Я признался ей, что вечером провел время в «Аркадии» (а ведь я не соврал!), и получил еще больший нагоняй за то, как я смел идти туда без нее.

Несмотря на это, я заснул скоро, и всю ночь мне снились стройные ножки и полные губки.

IX

На другой день мы встретились с Ниной у станции конки (конечно, совершенно случайно) и вместе отправились на службу. По необъяснимым законам природы мы нашли, что от клиники Виллие на Невский следует идти Александровским парком вокруг Петропавловской крепости, затем через Биржевой и Дворцовый мосты, а потом по набережной к памятнику Петра Великого.

По дороге Нина открыла мне, что вчера долго не могла заснуть, а когда заснула, то видела во сне разные чудовища и, между прочим, меня. О, в какой я пришел восторг!

Наши ноги устали, мы опоздали на службу, но в сердцах наших пели птички, и нам серьезно показалось, что это — самый короткий путь. По крайней мере, Нина, когда мы вошли в Александровский сад, воскликнула с сожалением:

— Ах, вот уж скоро и Невский!

Я мысленно вторил ей. Да, в иных положениях человек ни во что не ставит математику!

В этот день я насилу дождался 4 часов и сейчас же устремился на Большую Морскую, где опять была условлена неожиданная встреча с Ниной. Затем мы, пугливо оглядываясь, пробрались в ресторан и, уединившись в отдельном кабинете, потребовали обед.

Любовь не испортила наших appetitов. Напротив! Я, сам отдавая должную дань подаваемым блюдам, т. е., правильнее говоря, беря с них эту дань, — с восторгом, можно сказать, с обожанием смотрел, как деятельно работали белые зубки моей милой. Да, мы основательно истребили все, что нам было подано, а затем, конечно, отправились домой.

При возвращении мы опять-таки с презрением отнеслись к геометрии и ближайшим путем признали дорогу через Васильевский, Петровский, Крестовский и Каменный острова к Строганову мосту. Там, кстати, было меньше для нас шансов попасть на глаза, кому не следовало.

О чем мы тогда говорили? Хоть убейте, не помню, но, должно быть, о чем-нибудь очень интересном, ибо мы ни минутки не скучали. Больше, впрочем, щебетала Нина, а я слушал ее, давал реплики и радовался ее присутствию.

С прискорбием должен довести до сведения читателя, что мне опять влетело от жены за то, что я обедал в городе. Даже Маня, это коротенькое трехлетнее существо, с укоризной пропищало:

— Сто это, папа, я тебя тепей никогда не визу?

Это была вопиющая ложь, но я не стал обличать лгунью, а поднял ее на плечо и стал носить по саду; потом бодал ее пальцами, качал на ногах, и моя маленькая обвинительница простила мне все мои прегрешения. С Верой я не мог так поступить, но, к счастью, пришли Петя с Ниной (увы, не той Ниной!), Фея, потом заглянул Бахметьев, и Вера понемногу смягкла.

Петя, однако, несколько сконфузил меня.

— Ты что ж это, Колюха? — сказал он. — Я ему вчера кричу: куда ты так рано? А он кивает мне утвердительно головой.

И показал, как я кивал.

Я постарался замять неудобный разговор, не желая дальнейших подробностей о вчерашнем. Недоставало еще, чтобы кто-либо видел, как я нанимал лошадь! Вот была бы история!

Впрочем, Петя и сам сейчас же перешел к другой теме:

— А знаешь, брат, я видел комету.

— Где?

— Да по знакомству меня пустили в обсерваторию. Интересно там, братцы!

— Ну? Что же именно?

— Так, вообще. Трубы там разные. Посмотрел я на луну, а она-то вся в оспе. Право!

— Ладно, пусть себе в оспе. А что ж комета?

— Да комета, ничего, слава Богу, летит.

— Неужто летит?

— Так и садит. Я, впрочем, не видал: астрономы говорят.

— Да какая она, комета-то?

— Поганенькая! И смотреть-то не стоило. Хвоста у нее даже порядочного нет. Так, вошь какая-то.

Ну, тут дамы сделали легкий выговор Пете за неподходящее, будто бы, для их нежных ушей слово. Петя, однако, резонно заметил, что вот же они слышали это слово, и ничего им не сделалось; я высказался в том же смысле. Но дамы упорствовали на своем и, поддерживаемые Бахметьевым, заставили нас замолчать.

Тут пришли Надя с Володей. Мы уже забыли Надино вероломство по поводу спектакля и встретили ее самым дружелюбным образом.

В дальнейшей беседе я заметил, что хотя мысль о комете продолжала смущать, но мы все старались забыть о ней, а если говорили, то непременно в юмористическом тоне. Петя даже назначил 29 июня (день его именин) *grande soirée* и усердно приглашал, заявляя:

— Если до того времени не расшибет нас вдребезги и не проглотит рыба-кит, то так урежем, что не только чертям, комете тошно станет.

В это время Вера вспомнила, что не отдала мне полученное днем письмо. Оно было от моих родителей из Малороссии. Старики знали уже о комете и о том, что столкновение предполагается в арктической области, и звали нас к себе, на благодатный юг, где и воздух как будто чище, и солнце ярче, и природа богаче, и тараканы чернее.

Это приглашение подало мне блестящую мысль.

Конечно, возможно было, что комета отклонится от своего пути; но если столкновение произойдет, то наверное, в том районе, который указан астрономами; это уж логически вытекало из вычислений, сделанных ими и подтвержденных фактом столкновения; подтверждение, правда, чересчур веское, но что ж с этим поделаешь? Поэтому, отослав семью на юг, я несколько успокаивал себя, тем более что в случае надобности мне одному легче было выбраться к ним, чем в неизбежной суматохе трогаться всей семьей.

Но я вижу, что проницательный читатель усмехается и шепчет: «Полно зубы заговаривать! Вижу, в чем дело!» Ну

что ж, не скрою, что мысль видеться без затруднений с Ниной очень даже улыбалась мне; но все-таки главное, чего я добивался, это предоставить моей семье более безопасное положение, чем в Петербурге.

Я стал уговаривать Веру уехать к моим родителям. Она была не прочь уехать, но со мною, а меня удерживала служба.

Так мы в этот вечер и не пришли к соглашению. Следующий день, однако, решил вопрос о поездке.

X

Патрон мой, как только приехал на службу, сейчас же потребовал меня и объявил, что не позже, чем завтра, мне нужно ехать в Москву, а потом, может быть, и дальше по экстренному служебному делу. Завтра, так завтра!

Нина огорчилась, узнав об этом, даже очень огорчилась, даже чуть не прослезилась и удержалась только потому, что мы тогда ехали на конке. Но слезинки все-таки показались у нее на глазах, и со слезинками же (не теми, конечно, а уж другими) она простилась со мною.

Это было грустно, но зато меня обрадовала Вера. Когда я сообщил ей о своей командировке, то она немедленно решила, что ей тогда нечего оставаться в Петербурге, и сейчас стала укладываться, чтобы завтра же уехать со мною через Москву на юг.

На другой день все необходимые формальности были исполнены. Патрон мой напутствовал меня краткой, но содержательной инструкцией, по обыкновению, общего характера, изложив свой «взгляд и нечто» и поручив мне исследовать, верен ли такой его взгляд. По обыкновению же, он возложил на меня столько разнородных упований, что мне сразу стало неловко под ложечкой, и я пробормотал:

- Сделаю, что смогу, и как смогу лучше.
- Ну, тут нет ничего мудреного.

Из инструкции и ее тона видно, однако, было, что он и сам находить тут кой-что мудреным, а говорит так, подражая сознательно или бессознательно Суворову.

Последнее рукопожатие, и я стремлюсь домой, чтобы успеть пообедать и заблаговременно приехать к скорому поезду.

Вот мы готовы. Василиса при прощанье проливает «слезны токи», высказывая твердую уверенность, что мы уж больше не увидимся с нею: светопреставление, мол. Я не очень доверяю ее пророческим способностям, но мне тоже жутко.

Нас провожают целым домом: Петя говорит прощальный спич легкомысленного содержания, Нина и Феля минутно сморкаются, и потом все вообще машут платками, пока, наконец, мы не скрываемся в облаке пыли.

Маня при разлуке тоже всплакнула за компанию, но теперь развеселилась и тычет пальчиком:

— Сто это?

— Дом.

— А это?

— Дом.

— А это?

— Тоже дом.

— Тозе?

Маня склоняет головку набок, подавленная необъятным количеством домов и, спустя некоторое время, восклицает

— Акие басие!*

Это, впрочем, было уже в городе, где дома, по сравнению с дачами в Лесном, действительно «басие».

В вагоне Маня сейчас же улеглась спать, но встала, по обыкновению, рано и до самой Москвы служила предметом утехы для всего вагона. Меня даже утешала такая ее популярность. Она показала пассажирам все свои познания и таланты; сказала «Птицька Бозия не 'нает ни заботы, ни т'уда», пропела «Чижика» и «Козлика», удостове-

* Разумей: «какие большие»; не всякому дано понимать Манин язык.

рила, что у нее новые «цюйки и ба'мацьки» и, наконец, за-
теяла такую оживленную игру в прятки, что мне пришлось
прибегнуть ко всемогуществу кондуктора. Хотя Маня и
высказалась: «я не очень его боюсь», однако залезла за ви-
севшее на стенке пальто и выглядывала оттуда, как мышо-
нок.

Часов в 10 утра мы приехали в Москву.

Здесь я жил студентом, и читатель вправе опасаться,
что я сейчас же щедро наделю его воспоминаниями о своей
московской жизни. Нет, я не в таком настроении, да и не
вспомню теперь ничего замечательного.

Было здесь много и веселого, и печального, еще боль-
ше безразличного, хотя и это последнее, окрашенное розо-
вым светом юношеских впечатлений, вовсе не кажется та-
ким обыденным, каким оно было на самом деле. Впрочем,
воспоминания о московской жизни, благодаря, может
быть, тому, что я до сих пор не прерывал связей с Мос-
квой, не так властно действуют на мои нервы. Другое дело.
события, одно время забытые основательно, надолго и по-
том вдруг, неизвестно почему, всплывающие в памяти! Вспо-
минаются, конечно, не все случаи и не все детали, а лишь
те, которые наиболее выпукло отпечатались в тайниках
мозга; может быть, поэтому такие воспоминания кажутся
особенно яркими и сильно портят настроение, навевая
грусть о прошлом и тоску при мысли о будущем.

Однако я, сам того не замечая, вместо воспоминаний
ударился в лирику. «Заткни фонтан!» — кричит нетерпе-
ливый читатель. Ах, как это мне лестно!

Вера теперь как-то особенно заторопилась на юг. Да и
что ей делать в Москве, если мне, может быть, сегодня же
придется ехать дальше, но не вместе с нею? Поэтому мы
немедленно отправились на Курский вокзал.

При прощании Маня усердно приглашала меня в ва-
гон, обольщая торжественным обещанием, что она будет
«ум'ицею» и «паинькой». Я машинально гладил ее по го-
ловке, едва удерживаясь от слез. С каким наслаждением я
пошел бы сейчас в кассу и потребовал билет туда же, куда
ехали они! Увидел бы дорогих моему сердцу, подышал бы

упоительным, несравненным для меня воздухом родины! Э-э-эх! Нам, батракам, даже мечтать об этом можно лишь с дозволения начальства.

Я десятки раз обнимаю и целую уезжающих. Вера плачет, Маня, глядя на нее, тоже ревет. Я еще сдерживаюсь, но с большим трудом; судорога сжимает горло, и я чувствую, что если скажу хоть слово, то непременно заплачу.

Третий звонок. Поезд трогается и уносит в даль два выглядывающие из окна бесконечно милые и заплаканные теперь лица, т. е., лицо и маленькое личико.

Уж не только лиц, но и поезда скоро не будет видно, а я все еще смотрю ему вслед мокрыми от слез глазами.

Дорогие, милые, сердечные, увидимся ли мы еще когда-нибудь?

XI

С вокзала я отправился в гостиницу, а потом по делам службы.

К обеду часть нужных сведений была собрана, и я счел себя вправе отдохнуть, почему решил отправиться к своему бывшему товарищу, жившему на даче в Вешняках. Он со своей женой и матерью составляли симпатичнейшую семью, в которой я чувствовал себя... ну, как рыба в воде.

Первой встретила меня на балконе Варвара Сергеевна и всплеснула руками:

— Батюшки, как хорошо! Николай Николаевич! И всегда-то вы, как снег на голову!

Я расшаркался и приложил руку к сердцу:

— Это моя специальность и истинное призвание. Счастлив, что оправдываю надежды.

— Чьи?

— Создавшей меня природы, конечно.

— А что ж Вера Николаевна?

— Вера? Гм... как бы вам точнее сказать, очень не соврать? Вера теперь, должно быть, разговаривает где-нибудь

под Тулой, вероятно.

— Как так?

Ну, тут мне здорово попало за то, что Вера не захала погостить к ним. Только всестороннее выяснение обстоятельств и того, что Вера имела твердое намерение захватить к ним на обратном пути, если все обойдется благополучно (что было совершенно верно), прекратило град упреков от Коли, и от Варвары Сергеевны, а главное, от ее матери, которая особенно горевала, что не увидит теперь моей Мани, этого, по ее мнению, монстра детской прелести.

После дружеских излияний разговор, естественно, перешел на злобу дня.

— Ну что, как у вас, в Москве, относятся к комете?

— Да трусим, конечно, — отвечает Коля. — Молимся усерднее обыкновенного; больше-то ведь что ж предпримешь? Да вот еще Москва валом валит на феерию «Столкновение Земли с кометой». Говорят, очень чувствительно.

— Ты разве не был еще?

— Все как-то не соберусь.

— Пойдем сегодня со мной!

— А что ж, пойдем.

Варвара Сергеевна захлопала в ладоши и объявила, что это прекрасная мысль, что она тоже хочет смотреть столкновение и что мы даже и думать не можем ехать туда без нее. Ну, если не можем думать, то делать нечего, и мы милостиво разрешаем Варваре Сергеевне одеваться.

Часам к 8 ½ вечера мы были в саду, а еще через час началась феерия. Для нее было выстроено особое помещение в виде неимоверно длинного и высокого сарая для сцены с навесом перед нею, под которым были устроены места для публики за особую. Администрация сада разрешала смотреть феерию и без такой особой платы, но издали. И к тому же приходилось все время стоять в густой толпе. Поэтому мы раскутились и заняли места в самом зрительном зале.

Народа очень много, и везде оживленный говор; многие по мере сил и способностей подшучивают над героиней феерии.

А она теперь, небось, смотрит на шутников и думает (если обладает глазами и мозгом):

— Шутите, голубчики, шутите! Каково-то вам покажется, когда я шлепнусь на Землю? Да, невкусно!

Наконец поднимается занавес. Сначала в четырех картинах шли шаблонные разговоры на тему о кометах и вообще об астрономических перспективах; ну, будто роман Жюль Верна, переделанный в пьесу. Кой-кто из действующих лиц балаганил, кой-кто пушал слезу.

Между прочим, были там и добродетельные молодые люди обоего пола, влюбленные друг в друга; но злая судьба в продолжение четырех актов ни за какие коврижки не давала им повенчаться и они, не решаясь противоречить всемогущему автору, ходили по сцене и в каждом углу испускали по вздоху.

Я уж даже соскучился. Видно было по всему, что для избавления публики от этих добродетельных козьявок требуются решительные меры хотя бы даже космического характера.

Варвара Сергеевна высказала неукротимое желание, чтобы появилась наконец комета и хорошенько приплюснула обоих героев и всех вообще блуждавших по сцене и изнывавших от безделья лиц.

— Все-таки некоторое развлечение, — прибавила она легкомысленно.

Но последняя картина искупила все.

Перед нею антракт был довольно продолжителен, и мы несколько подкрепились в буфете, не желая принимать комету на тощий желудок. Наконец поднялся занавес.

Открылась сцена, черная, как ночь. Для большего эффекта садовые фонари были погашены, и осталось только несколько электрических лампочек, защищенных от сцены большими непроницаемыми абажурами. Где-то вдали, в глубине сцены, вспыхивают изредка молнии, крупными яркими зигзагами прорезая мрак. Потом показалась светлая точка, все увеличивающаяся в объеме и яркости. Теперь видно, что это звезда с хвостиком. Среди публики, стоявшей сзади, слышались вздохи, и они усилились,

когда увеличившийся блеск кометы осветил кучку людей, стоявших в ближайшем к нам углу сцены и с ужасом взиравших на комету. А вдали виднеются горы, лес, море.

Комета все ближе и ближе. Лампы в зрительном зале гаснут, и все кругом озаряется зловещим кровавым светом.

Становится как-то жутко. Люди на сцене начинают бегать в смятении, падают на колени, воздевают руки к небу.

Комета еще ближе. Вот она заняла уж полсцены. Яркость света почти нестерпима: вся сцена точно в пожаре. С пола поднимается струйками пар и по временам слегка застилает все. И еще ужаснее кажется огонь кометы сквозь этот волнующийся занавес.

Вдруг послышался сильный свист и завывание урагана. Люди на сцене упали ниц и издали раздирающий душу крик ужаса. И в тон ему раздался такой же крик среди зрителей; многие даже привстали.

Море огня и дыма, ужасающие громовые удары, оглушительный треск и грохот обрушивающихся зданий...

Все вдруг исчезает и кругом воцаряется непроглядная тьма.

На мгновение гробовое молчание. Но вдруг поднялся страшный вопль:

— Огня, огня!

Все сразу осветилось.

Оказывается, что добродетельных молодых людей даже комета не могла уничтожить. Черт возьми, они живы и, кажется, уже могут вступить в брак! Это уж слишком! Мы поднимаемся и удираем, тем более что Коле и Варваре Сергеевне пора на последний поезд.

— Ах, я чувствую себя, как после хорошей бани, — определяет Варвара Сергеевна свое впечатление.

Мы с Колей говорим «угу» и предаемся своим мыслям. Наконец Коля замечает:

— Хорошо, до отвращения хорошо! А только я больше не пойду.

Проводив их до вокзала, я потихоньку возвращаюсь домой и тут впервые замечаю на чистом, ясном небе яркую звезду с коротким толстым хвостом.

Итак, она появилась наконец, такая маленькая, такая невинная с виду!

Холодный ужас, который я уже испытывал однажды, снова овладевает всем моим существом.

Я снова переживаю отвратительнейшую ночь, и нет со мною Шопенгауэра в переводе Фета.

ХII

Да, скверная это была ночь! Настолько скверная, что я уж серьезно подумывать о самоубийстве. Но человек даже и в такую ночь цепляется за жизнь, как будто это невесть какая драгоценность. Так и я вместо самоубийства предпочел идти гулять и ходил, пока улицы не оживились; тогда я вернулся к себе, напился основательно чая, отчего дух мой стал бодр, и отправился по делам службы.

Блуждая по улицам, я обратил внимание на афишу, объявлявшую, что сегодня вечером в Политехническом музее состоится лекция одного известного ученого на тему: «Чего нам ждать от кометы?»

Тема имела для меня захватывающий интерес; лектора я давно знал и очень любил его особенный стиль речи, часто насмешливый, чуточку иногда грубоватый, но всегда оригинальный; и притом особая, свойственная лишь ему одному манера читать то с оживлением и криком, то едко-саркастически, то тихим, скромным тоном и вообще усиливать впечатление соответствующей интонацией.

Поэтому я решил непременно идти слушать его и не только отверг проекты Коли, соблазнявшего меня опереткой, но склонил его и Варвару Сергеевну отправиться на лекцию.

В надлежащее время мы сидели в зале музея. Народа собралась гибель. Это было необычное для лета явление, но легко объяснялось темой лекции.

В противоположность обычному порядку вещей, сегодня преобладала публика большого света; было много воен-

ных, даже с зигзагами на погонах и широкими лампасами. Но сзади было много и мелкоты, так что в зале скоро стало душно, несмотря на открытые окна.

Наконец вышел лектор. Я давно знал и этот высокий лоб, и эти умные серые глаза с задумчивым, чуточку усталым выражением, но сегодня с особым интересом взглянул на ученого. С таким же интересом устремила на него глава и вся зала; надо думать, что мы ожидали увидеть у него в петлице фрака комету.

Все в зале притихли. Лектор обвел взором публику и начал:

«Медленно, но неустанно, шаг за шагом, но без малейшего перерыва бредем мы в царство теней, где, по учению древних, нас ждет справедливая оценка наших деяний. Я, однако, никогда не мог постигнуть, какое должно быть обращение с тенью, бестелесным, как принято думать, существом, и к чему ей так надобна справедливая оценка ее земных грехов. Если в отношении геенны огненной, то неужели тень боится огня? Воздух, вещество вполне, можно сказать, материальное, и тот даже не трусит: возьмет да и уйдет повыше. Коли же тень привязывают, то какими цепями или канатами? Ах, этого нам никогда не понять!

И вся разница между нами лишь в том, что один случайно, без ведома для себя и чаще всего против желания, избирает дорогу покороче, даже самую короткую, а другой так же случайно и так же бессознательно попадает на окольный путь, идет долго, идет мучительно и приходит на место назначения совершенно истомленным. Что лучше? Не знаю. Но все дороги вели когда-то в Рим, и нет пути, который бы не вел к смерти.

Вы, вероятно, удивляетесь, слыша такие, совсем, казалось бы, неподходящие к предмету моей лекции слова. Но дело в том, что этот самый предмет, эта скромная хвостатая звездочка, появившаяся недавно на нашем небе, несет именно смерть хотя и не всему, надо думать, населению земного шара, но значительной все-таки его части. И если что-либо из сказанного мною не подходит к тому, что вы услышите сейчас, то разве слова “медленно” и “шаг за ша-

гом”, ибо, напротив, мы летим теперь навстречу смерти с такой быстротой, о которой не может дать представления даже скорость пушечного ядра. Незванная гостья, правда, еще далеко и кажется совсем маленькой и безобидной. Но в свое время мы ее увидим в грозном виде и близко, даже слишком близко. Интересное это, должно быть, зрелище, интересное и поучительное, и кто уцелеет при ожидаемом кавардаке, может сказать своим потомкам, что он видел мировой беспорядок, дикую схватку небесных светил, сверхъестественную феерию, подобной которой мир не увидит опять в течение тысяч, миллионов, может быть, миллиардов лет».

Далее лектор сообщил нам несколько сведений о кометах, из которых меня заинтересовало лишь то, что грозящий нам «мировой бродяга», как его назвал ученый, отличается весьма плотным ядром и что опасность столкновения, насколько можно судить, неизбежного, от этого только усиливается.

Обрадовав нас таким приятным известием, ученый стал разбирать разные возможные последствия столкновения, и все они оказались омерзительно скверными. Одним словом, я сделал вывод, что самое лучшее — поскорее как-нибудь лишиться себя жизни, чтобы не видеть, если и придется увидеть, всех тех пакостей, которые учинит нам и Земле комета. Тем же, кто не решился бы прибегнуть к такому героическому средству, лектор дал несколько практических советов, предварив однако, что он нисколько не ручается за полную безопасность последовавших этим советам. Подтвердив, что удар должен поразить главным образом побережья Северного Ледовитого океана, как это было определено и Пулковской обсерваторией, лектор посоветовал ехать на юг, но и там в момент катастрофы, который вскоре будет определен самым точным образом, — быть подальше от больших вместилищ воды и строений; лучше всего провести эту ночь под открытым небом, какова бы ни была погода.

В заключение лектор, желая утешить публику, счел нужным прибавить несколько теплых слов. Я приведу их бук-

вально:

«Обидно делается, когда подумаешь: живем мы, трудимся, вертимся, как белка в колесе, а для чего, не знаем; общий план мироздания и цель его скрыты от нас. Иной раз нам кажется, что вот уж мы подобралась к непроницаемой завесе, скрывающей от нас смысл всего существующаго. Теперь хоть бы бросить туда один взгляд, хотя бы только просунуть нос и понюхать, чем там пахнет. Но напрасно: нашим слабым рукам или, точнее, головам все еще не под силу тяжелые складки этой завесы, и мы не в состоянии не только что поднять, но даже хоть чуть-чуть сдвинуть их. Итак, стоим мы перед этой завесой и то яростно орем, чтобы нам открыли, то утрюмо сопим, сознавая всю безнадежность наших попыток в настоящее, по крайней мере, время. Вот и здесь мы стоим перед неразрешимым вопросом: зачем, для какой конечной цели понадобилось вызвать из отдаленнейших мировых пространств эту комету и наделать нам столько неприятностей и хлопот?»

Лектор перевел дух и выпил воды; затем продолжал:

«Не следует, однако, отчаиваться и в припадке эгоистического гнева упрекать Провидение в несправедливости. Человек привык считать себя средоточием вселенной. Почему? Что дает ему право думать таким образом? Для природы он лишь крохотный нарост на земной коре, и она вовсе не находит нужным считаться с его вкусами и желаниями, как человек не считается со вкусами комара, например; а коэффициент отношения между комаром и человеком неизмеримо меньше, чем между человеком и природой. Тем не менее, если наши желания совпадают с ее намерениями, человек думает, что это он, не кто иной, а он заставил природу поступить так, а не иначе. Гм... он! Но если нет, как ничтожны силы человека! Они — нуль! Ну, что мы значим в процессе мироздания, и какой телескоп, поставленный хотя бы недалеко, на Луне, например, мог бы усмотреть нас среди необъятного количества материалов для этого процесса? Мы — то, что в математике называют бесконечно малой величиной. Никто в мировом пространстве и не заметит нашей гибели, тем более что после нее

(я беру самый худший исход), несомненно, на Земле возродится новая жизнь, может быть, в новых, лучших формах, с новыми идеалами, домами трудолюбия и приютами для вдов, сирот и увечных, и ни одной самой ничтожной частицы мировой материи не пропадет даром.

Не будем же придиричивы и встретим неизбежность так, как следует встретить ее людям разумным. т. е. мужественно и без неосмысленного ропота. Никто притом не мешает нам утешать себя мыслью, что после смерти нам будет лучше. Может быть, там, в загробном мире, люди, испытав многое на земле и пройдя через горнило смерти, становятся умнее и добрее; может быть, то, что мы являемся туда в виде теней, изменяет и наши взгляды, и наши вкусы, и наше отношение к окружающему нас. Там не должно быть ни железных дорог, ни ссудных касс, ни питейных заведений, ни квартирных налогов, ни самих квартир, ни даже дворников и тем паче велосипедистов. Одно ясное, безоблачное небо и абсолютная тишина, физическая и моральная...»

— Бррр....! — послышалось из задних рядов.

Лектор задумчиво посмотрел туда и через несколько секунд сказал:

— Может быть, и так. Лично я не совсем согласен с почтенным автором этого междометия, но мой взгляд, быть может, слишком субъективен. Во всяком случае, будем мужественны и светлы душой. До свидания в том...

Он приостановился.

— А впрочем, может быть, и в этом еще мире.

Лектор кивнул головой и ушел. Его проводили громом рукоплесканий; но, когда публика стала расходиться, я не заметил у нее ни мужественности, ни светлости души. Не было этих чувств и у меня; еще кой-какое туповатое безразличие, пожалуй, нашлось бы, но светлости душевной и в помине не было. Даже жизнерадостная Варвара Сергеевна приуныла и домой молча и как-то нехотя.

Читатель, может быть, удивится, как это я так хорошо запомнил лекцию? Немудрено: она была напечатана на дру-

гой день во всех московских газетах; даже случай с «бррр...» не был забыт.

ХШ

На следующий день выяснилось, что ехать дальше мне нет надобности, так как все нужные сведения были получены здесь, в Москве. Поэтому я решил немедленно ехать в Петербург и, представив отчет по командировке, немедленно же удрать к родным в Малороссию. А там будь, что будет! Коли придется помереть, так уж всем вместе!

В этом решении немаловажную роль играла прослушанная вчера лекция. Действительно, если я не имел намерения предавать себя преждевременно смерти, то мне совсем незачем было оставаться в Петербурге. Я был еще счастливее многих, ибо у меня и у моей семьи был приют в сравнительно безопасной местности. А каково было другим!

Сердечно простившись с Колей и его семейством, я укатил в Петербург.

Это было в субботу 19-го июня, а в воскресенье утром я уже был в Петербурге.

Проезжая с вокзала на Лесной, я увидел в поезде паровой конки Нину, ехавшую, очевидно, в город. Она тоже заметила меня и, кажется, хотела сказать что-то, но поезд быстро прокатил мимо, и мы могли лишь покивать головами друг другу; но зато кивали очень усердно.

Приехав домой, я обрадовал своим приездом Василису, но не преминул сделать ей строгий выговор за неверное предсказание. Ишь, пророчица нашлась! «Прощайте, больше не увидимся!» А я-то и приехал! На-тка, выкуси! Коли по штату не положено пророческого дара, нечего и соваться.

Василиса уж и не возражала, а торопилась приготовить обед.

Отведя душу, я отправился гулять возле станции конки, надеясь, что Нина вернется. Этого, однако, не случилось, а

вместо Нины я встретил Бахметьева и потащил его к себе обедать.

Все шло надлежащим порядком; мы оба вооружились: я — книгой, он — газетой и, цenia дорогое время, не отрывались от них даже и тогда, когда распоряжались с супом или бифштексом. Одним словом, вопреки инсинуациям Веры, мы устроились так, что еда не мешала чтению, а чтение еде. Василиса, правда, поглядывала на нас неодобрительно, но мы и ухом не повели и продолжали, неся в рот ложку супа или кусок мяса, он — следить за тем, что нам пишут из Европы, я — интересоваться сверхъестественными приключениями и страданиями диккенсовского героя.

После обеда мы устроились, конечно, на балконе. Бахметьев прочитал уже газету и, по обыкновению, счел нужным помешать читать и мне.

— Меня прямо изумляет, — начал он, — настроение и мое, и ваше, да и всего Петербурга. Недели через полторы с нами может произойти очень печальная история, а мы как ни в чем не бывало: едим, пьем, гуляем, читаем, веселимся, как можем. Одним словом, занимаемся обычными делами, нисколько будто не думая о близкой смерти. Отчего бы это?

— Да разве можно волноваться так долго? — возразил я. — Ведь это, черт возьми, хуже всякой смерти; я, по крайней мере, не могу представить себе более ужасного нравственного состояния, как продолжительная тревога.

— Н-да, — процедил Бахметьев.

— Притом все еще теплится надежда, неуверенность в неизбежном столкновении, питаемая, вероятно, тем, что здесь, в Петербурге, до сих пор не видно кометы. Ну, а наконец, что бы вы посоветовали делать? Уехать? На какие средства? Что бы мы ели. мы, люди 20-го числа?

Бахметьев, как всегда, не стал отделяваться общими местами вроде: «Бог дал день, даст и пищу» или «как-ни будь переберемся». Подтвердив молчанием свое со мною согласие, он потерял бородку и начал гарцевать с другой стороны:

— Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, вам не жалко?

— Себя? Очень.

— А еще кого?

— Да всех тех, кто дорог моему сердцу.

— А кто не дорог?

— И тех жалко, но как-то умом, а не сердцем. Я заметил, что и вообще люди чутки лишь к конкретным страданиям и то, если они происходят на глазах. А в данном случае я ведь не в лучших условиях, чем другие; опасность и мне, и всем угрожает одна и та же.

— Ну, все-таки разница есть. Вот, например, если нам с вами придется уехать из Петербурга, то мы хоть знаем, куда приткнуться; а большинство даже и этого скромного утешения не имеет.

— Ах, вы об этом! Да, это обстоятельство, эта безвыходность положения наиболее трогает меня. Я всегда, и в детстве еще, бывало, горько сожалел лишь о тех, кому не предоставлено право выбора между хорошим и дурным и остается только последнее.

— А если человек заблуждается?

— Тех я, бывало, тоже жалел, но теперь мое сердце стало черство и даже, можно сказать, нетерпимо...

— Так неужели же?

— Поймите, вы мне не дали договорить. Если бы я видел, что человек, по-моему, заблуждается, то я и теперь счел бы своим долгом указать ему это, предостеречь от последствий. Но если бы он, не доказав мне, что я ошибаюсь, все-таки поступил по-своему, то я охладел бы к нему и даже с любопытством следил бы, что из этого выйдет. Вот до чего я стал черств душой.

— Это ужасно чудно, — пробормотал Бахметьев.

— А, по-моему, только логично. Допустим, что вышло бы скверно: ведь мой долг исполнен. А насилия нравственного или физического я не допустил бы по отношению к себе и не считаю себя вправе применить его к другому. Да и где гарантия, что именно мой взгляд правилен? Может быть, то, что я считаю дурным, для другого как раз хо-

рошо. А если я ошибусь, то ведь мне тогда о себе нужно жалеть, а не о другом.

— Вот не ожидал! Все о вас такого мнения, что вы — доброта, гуманность олицетворенная, а вы на, поди, какой жестокосердный!

— А я на, поди, какой жестокосердный! — серьезно передразнил, я его, повертываясь носом к стене, будто бы я устал лежать на спине; но умысел другой тут был.

Бахметьев помолчал, улегся поудобнее, задрал ноги на барьер балкона и начал атаку с третьей стороны:

— Нет, это страшная ирония судьбы! Века, тысячелетия, миллионы лет люди жили себе и умирали, как следует, по-хорошему, а мы вдруг...

— Какая же разница между этой смертью и, например, от кинжала брави?

— Какая? Гм...

Он зашнулся.

— Да хоть такая, что последняя смерть случайная, за минуту еще неведомая, а о комете мы уж недели три слышим.

Сразив меня этим аргументом, он продолжал:

— Но сама смерть, ах, какая это мудреная штука! Раньше я как-то поверхностно относился к этому явлению и только теперь осознал всю его... как бы сказать... остроту, что ли. Живет человек, и: все ему кажется, что смерть еще далеко; а она вдруг тут как тут, и жизни осталась самая чуточка. А умирать-то еще не хочется: как будто рано. Оглядываешься назад и видишь, что там ничего нет, впереди пусто. Вот он, самый ужас-то где!

— Ну что ж, в Нирвану тогда, — пошутил я.

— Благодарю, я не буддист, лучше уж переселение душ.

Я даже повернулся на другой бок:

— Кстати, о переселении душ: эта теория кажется мне несостоятельной. Положим, души переходят от одного человека к другому, состоять, так сказать, во временном пользовании. Это — утешительно! Но, с другой стороны, как объяснить такой факт: ведь число людей на земном шаре постоянно увеличивается; лет в 50, ну, положим, в 100 оно,

наверное, удваивается. Где же берут души для этого прироста?

Бахметьев призадумался.

— Вероятно, есть где-нибудь, — цедит он нерешительно.

— Что ж, это, по-вашему, запасные, резервные души, пускаемые в дело за израсходованием наличных? А до того времени они чем занимаются? Неужели бьют баклуши в течение веков, тысячелетий? Нет, я не допускаю, чтобы природа была так нерасчетлива.

— Пойдите, — вдруг с сожалением возразил Бахметьев. — Вы забываете, сколько с распространением культуры и увеличением народонаселения уничтожено животных и особенно диких. Куда их души деваются?

— Вот так фунт! Вы, значит, думаете, что души этих животных повышаются в чине? Так, что ли?

— Конечно, — торжествует Бахметьев.

— Какал стройная система! И какая ясная! То-то у нас, по мнению некоторых, с позволения сказать, моралистов, вроде Макса Нордау, столько свиней расплодилось! Хотя я сам, предупрежу, вовсе не держусь этого взгляда. По-моему, теперь среднему человеку гораздо лучше и легче жить, чем раньше.

— Ну так что ж из этого?

— Очевидно, души животных, которые теперь, несомненно, преобладают, более склонны к справедливости. Это, выходит, повышение в чине не для животного, а для человека. А, как вы думаете?

Довольный своим веским аргументом, я опять повернулся носом к стене. Но Бахметьев и тут нашелся:

— Да, но, с другой стороны, так называемые гении или таланты, очевидно, души прежних людей, уже прошедшие высшую школу.

Поди ж ты! Нашел все-таки возражение! Этакий упрямый спорщик! Но я буду великодушнее и попробую уступить наваянному на меня спором сну!

— Впрочем, — добавил мой оппонент, — существует ли переселение душ или нет, а умирать все-таки не хочется.

Долго еще разбирал Бахметьев этот вопрос, но я уже начал дремать и только изредка, приходя на секунду в полусознание, улавливал фразы:

— Прекрасно понимаешь, что с момента смерти твое тело ничего не будет чувствовать, и все-таки подумать, что тебя засыплют землей...

Потом, через несколько секунд:

— Хорошо, если бы меня после смерти выбросили прямо в поле; пусть там съедят меня вороны, но пусть то, что останется от меня, пусть оно видит солнце, голубое небо, землю, снег...

— А как же комета-то? — хотел я сказать, но стоило ли из-за такого пустяка расстраивать сладкую дремоту. Я сказал только «угу», а это ничего не выразало.

Потом еще через несколько секунд:

— Как вы думаете, Николай Николаевич, существа четвертого, пятого и т. д. измерений боятся теперь кометы?

Это dokonало меня; последние проблески сознания исчезли, и я был очень удивлен, когда, открыв почему-то глаза, увидел Василису с телеграммой в руках. Оказалось, она будила меня уже минут пять, сначала вежливо взывая ко мне; но видя, что это — безуспешно, решила потрясти меня за плечо и получила желанный результат.

Я расписался в получении, вскрыл пакетик и остолбенел от радости: «Еду Стрельну, возвращусь сегодня. Жди девять часов вечера Балтийском вокзале. Нина».

Я взглянул на часы: уже семь; поинтересовался, когда подана телеграмма: оказалось, в 10 ч. 30 м. утра. Я хотел очень рассердиться на телеграф, так долго передававший депешу, но не было времени; пришлось спешно умыться, одеться и бежать.

Бахметьев, устав философствовать о смерти, почивал сном праведника вниз животом и даже издавал носом сложные звуки, подобные аккордам эоловой арфы. Я поручил его попечениям Василисы, наказав ей поставить самовар, если он пожелает. А затем улетел, как перы молодая в 4 п. 30 ф. весом.

XIV

Заметила ли вы, что конка относится вообще враждебно к пассажирам и, если не может досадить как-нибудь по-серьезнее, например, членовредительством или чем-нибудь еще похуже, то, по крайней мере, считает долгом нарушать их расчеты. Положи, вы спешите куда-нибудь, и время у вас в обрез, но из экономии вы решились вверить себя конке. Я еще никогда не видал, чтобы в подобном случае конка везла, как следует; нет, лошади попадутся усталые, на каждом разъезде приходится ожидать, и в конце концов ваш вагон непременно сойдет с рельс. Но примите только во внимание, что конка может опоздать, и выйдите заблаговременно: о, тогда можете быть уверены, что вас повезут с быстротой курьерского поезда, и вы поспеете, по крайней мере, за час до срока; и вот вы будете бродить, как непокаявшаяся душа, в ожидании условленного часа и бранить и себя, и конку, и прохожих, и все на свете.

Этому же закону подчиняются и паровые конки. Обыкновенно время проезда из Лесного на Балтийский вокзал даже на конке не более 1 ч. 45 м., которые и были в моем распоряжении. Но я спешил, боясь, что, запоздав хоть на 5 минут, я уж не встречу Нину, что она может подумать, будто я не захотел приехать на вокзал (могла ли она догадаться, что телеграмма из города в Лесной будет идти 8 ½ часов?), —и конка стала, конечно, придумывать всякие предлоги, чтобы задержаться в пути. Сначала она подучила машиниста плестись полегоньку, чуть не шагом, и мы подъехали к разъезду у Ланской как раз в то время, когда раздались трубные звуки линейных сторожей Финляндской дороги, возвещавшие о приближении поезда из Петербурга. Ну, затем, пока мы стояли, выжидая прохода этого поезда, дух конки скорехонько слетал на Удельную (духу это ведь ничего не стоит) и умолил начальника станции сейчас отправить оттуда в Петербург товарный поезд. Поэтому, как только промелькнул перед нами последний вагон из Петербурга, раздались снова трубные звуки уже

от Удельной. И вот мы сидели и ждали, пока медленно, совсем не спеша и лишь слегка погромыхивая на стыках рельс, тянулся перед нами длиннейший товарный поезд чуть не из 60 вагонов.

Наконец, и он прошел; путь открыли, везде на разъездах нас ждали, и можно было хоть немного наверстать потерянное время. Оно бы так и было, если бы я не спешил! Машинист продолжал плестись и разошелся, только подходя к казармам московского полка, но и то с горестным результатом: при проходе извилины пути перед разъездом у казарм, паровоз спокойно выехал из рельс и грациозно оперся на лежавшее у тротуара бревно, никак не ожидавшее подобной чести; бревно, тем не менее, было польщено таким предпочтением и слегка даже крякнуло от удовольствия, соединенного, впрочем, с чувством некоторого, надо думать, стеснения. Паровоз, однако, не обратил на это никакого внимания и аадумчиво устался в сад.

Ну, я, давно волнуемый подозрениями насчет коварства конки, тут уж не мог вытерпеть: выбравшись самым энергичным образом и даже погрозив кулаком машинисту, я пошел дальше пешком и, встретив извозчика, поручил ему свою особу, прося доставить ее на Балтийский вокзал в 9 часов без пяти минут. Хотя извозчик попался не блистательный, тем не менее с успехом выполнил возложенное на него поручение; правда, я предусмотрительно оставил без внимания вопрос о таксе, заключив с ним специальный договор (в известных случаях подобное малодушие, право, извинительно).

Благодаря, вероятно, этому, я поспел на вокзал заблаговременно, настолько заблаговременно, что успел изучить все расписания поездов, раза три прочитать афишу о спектакле в Ораниенбауме и даже поссориться слегка с господином в монокле, занявшим, по моему мнению, слишком много места на скамейке; он сначала отрицал этот факт, но наконец сдвинул полу пальто и очистил мне около 2 ½ вершков. Взглянув на часы, я предпочел оставить пререкания и отправился на платформу. Господин прошипел что-то мне вслед. Я посмотрел на него внимательно, но вре-

мне оставалось слишком мало, чтобы успеть до прихода поезда точно выяснить, что именно прошипел монокль; поэтому я решил, что он сказал мне: «ангел», и проследовал дальше.

Минуты через две подкатил поезд, и я с неопишным удовольствием заметил в окне вагона изящную головку Нины, усердно кивавшую мне. Я тоже кивал ей так, что у меня голова чуть не отвалилась, и пошел за вагоном. Еще секунда, и она рядом со мною, кладет на мой локоть свою ручку, прижимается ко мне, как кошечка. Я ощущаю неизмеримое блаженство и готов прыгать козлом; только мысль, что городские и другие власть имущие лица могут отнестись крайне недоброжелательно к подобным проявлениям восторга, заставляет меня отказаться от них.

— Ну что ж, ты скучал в Москве без меня? — спрашивает Нина.

Говоря правду, мне и некогда было скучать, но теперь я уверен, что очень скучал, и сообщаю об этом.

— А я как тосковала! — говорит жалобно Нина. — Почему ты не написал мне ни одного письма?

— Да не о чем было, — стараюсь я оправдаться.

— Как не о чем? Написал бы, что ты меня любишь очень крепко, крепко.

В самом деле! Какая недогадливость! Я опускаю повинную голову и стараюсь заглазить проступок теперь.

И вот мы идем по набережной Обводного канала, выходим на Измайловский проспект и все время изливаем друг другу свои чувства. Излияния эти заключаются преимущественно в особой манере глядеть друг на друга и попеременно повторять «милый», «милая», «любовь моя», «радость», «счастье мое» и прочие общеизвестные выражения специального лексикона.

Показался месяц, весь красный, точно распухший после беспутно проведенного дня. Понемногу, однако, ночная прохлада освежает его, и он принимает обычный глупый вид ярко вычищенного медного подноса. Но даже и он нам теперь нравится, и мы не стесняемся заявить ему это; но его заплывшее жиром лицо смотрит на нас так тупо,

как будто он только что ковырял в носу и еще не может очнуться от испытанного наслаждения.

В приятной беседе мы достигаем первой роты, выходим на Забалканский и садимся в конку к окружному суду. Доехав до него, мы определяем, что еще не силах расстаться так скоро, и потому вместо Литейного моста направляемся к Таврическому саду. Но и часовое гулянье вокруг последнего не удовлетворяет нас.

Тогда я, обратив внимание Нины, что уже 12-й час, робко подаю ей мысль остаться со мной в городе, сказав завтра дома, что она ночевала в Стрельне. Эта мысль находить у нее сочувствие, но...

— Но где же мы проведем ночь? Нельзя же так гулять все время, — замечает благоразумная Нина.

— Конечно, — спешу я подтвердить. — Видишь ли, в моем распоряжении имеется комната одного моего товарища: он уехал в отпуск и разрешил мне пользоваться ею, если бы я захотел ночевать в городе.

— Ну, хорошо, — соглашается Нина, — я ночую в Стрельне.

И она лукаво смотрит на меня.

Мой восторг достигает апогея. Пользуясь отсутствием прохожих, я впиваюсь в ее губки, и затем мы берем извозчика и отправляемся на Пушкинскую; взбираемся там в четвертый этаж, и я заявляю служанке, что буду ночевать у них. Служанка ничего не возражает и даже вызывается поставить самовар, что мы принимаем с горячей благодарностью, ибо ощущаем голод. Еще бы, такой моцион!

Я немедленно отправляюсь за съестными припасами и, к нашему счастью, нахожу незапертую колбасную. Да, здесь не то, что в Токсово, где и в полдень найдешь разве лишь какую-нибудь интересную окаменелость.

Итак, теперь в нашем распоряжении: время, горячие сосиски и не менее горячие ласки. Все это мы растрачиваем с непростительным легкомыслием.

Пужинав. мы располагаемся на широкой оттоманке и теряем представление о времени, хотя не спим. Лампа под

большим зеленым абажуров оставляет все в таком приятном полусвете-полумгле.

Вы, порочный читатель (если вы, действительно, порочны), вообразите, может быть, что у нас невеста что происходило. Напрасно-с; любовь наша была еще в том периоде, когда даже мужчина довольствуется одними скромными поцелуями, даже одним лицезрением; притом, Нина была окружена таким ореолом стыдливости, что я только и мог решиться поцеловать ее ножку. Ах, сколько удовольствия может доставить одно присутствие любимой женщины, одна возможность смотреть ей в глаза и искать там утвердительный ответ на вечно один и тот же вопрос! Нервы напрягаются, и душу окутывает дымка невероятного блаженства.

Впрочем, не один только порочный читатель сделал неосновательное предположение; за стеною всякий раз, когда Нина умоляюще-нерешительным шепотом останавливала мои слишком иногда смелые порывы, всякий раз, когда мы целовались взасос и прерывистым от страсти и недостатка воздуха голосом выражали свои ощущения, всякий раз за стеною раздавался протяжный вздох. На другой день служанка сказала мне, что в соседней комнате живет дама-вдова, которая утром жаловалась ей, что не спала всю ночь, потому что мы шумели. А? Как вам понравится? Шумели! А я старался ходить на цыпочках, и ни одного слова не было произнесено иначе, как шепотом! А почему тогда, мадам, мы слышали ваши вздохи сейчас же за стеною (и очень тонкой, притом), между тем как ваша кровать, по уверению служанки, стоит в противоположном углу? Какая черная неблагодарность за доставленное удовольствие!

Служанка утешила меня, высказав мнение, что вдова просто завидовала. Но это я знал и без нее!

Когда мы вышли на улицу (сначала, в видах осторожности, порознь), то я был как в чаду, и все встречные физиономии казались мне необычайно добрыми. Я шел, счастливо улыбаясь, и рассеянно отвечал на вопросы Нины, которая заглядывала в мои глаза и недоумевала. Но как я мог здесь, на улице, достаточно рельефно изобразить ей

свое душевное состояние? Слов таких нет, а руки, голос, глаза были связаны прохожими.

На службе моя голова была словно в тумане, но таком светлом, радостном. С этим туманом не могли справиться даже статистические выборки и вычисления расстояний дорог. Хорошо еще, что патрон не явился на службу, и мне не пришлось докладывать ему о результатах командировки.

Когда я принимался читать служебную бумагу, то вместо строк видел перед собой милое бледное личико с большими синими глазами, смотревшими на меня так любовно. Очнувшись, я спешил принять противоядие и начинал сочинять какое-нибудь «отношение», но, вместо «вследствие вашего письма от такого-то числа», рука своевольно выводила: «радость моя, жизнь моя, я готов выпить тебя в поцелуе», я снова погружался в воспоминания о вчерашнем, точнее, сегодняшнем блаженстве и снова все остальное шло к черту.

Ах, эта ночь и доньше полна для меня невыразимого, но могучего очарования!

Мало таких часов в жизни, но и одного достаточно, чтобы воспоминанием о нем скрасить нашу серую, будничную жизнь, наполненную заботами о желудке. О, вечно благословенный божок древних! Ты глядишь на меня и лукаво, лукаво смеешься. Ну, что ж, смейся, тебе все прощается! Что бы было на свете, если бы не было твоих стрел? Жизнь наша превратилась бы в обыкновенную, грязную, вонючую тряпку. Как подумаешь об этом, то станет даже холодно на душе, и единственным утешением служит мысль, что тогда мы этого не сознавали бы.

Но... (здесь, как и везде, есть «но») мое блаженное состояние помешало мне при возвращении домой обратить надлежащее внимание на необычное движение войск и артиллерии с Выборгской на незаречную сторону. Если бы я заинтересовался этим фактом и осведомился о причине его, то... дальше нечего было бы рассказывать.

XV

Лег спать я очень рано, спал, как убитый, отсыпаясь за прошлую ночь, а на следующее утро, не дождавшись газеты (которая, по неизвестной мне причине, опоздала), ускакал из дома, чтобы встретиться, конечно, с Ниной.

Ждал я ее долго и когда увидел, то был поражен ее поведением: с тревожным выражением лица, поминутно оглядываясь, она сделала мне украдкой знак не подходить к ней и пошла быстро к конке. Мы уселись в разных углах. У клиники, наконец, она подождала меня. Дело объяснялось и объяснилось довольно скверно.

Дядя и тетка, у которых Нина жила, обеспокоились, что она не ночевала дома, и утром дядя отправился в Стрельну, к тем знакомым, к которым она поехала 20-го. Узнав, что она уехала от них 20-го же вечером, дядя еще больше обеспокоился. Приехав в наше правление, он узнал, что Нина на службе, но не показался ей, а дома устроил допрос. Нина, ничего не подозревая, заявила, что она ночевала в Стрельне. Ну, тут и поднялась буря! Было сказано много едких и грозных слов, тетка всплакнула, дядя гремел. Нина ревела весь вечер и теперь была в страшном волнении, боясь, что нас кто-нибудь заметит и мне будет неприятность. Милая! Она боялась больше всего за меня!

Понятно, что такой разговор не давал нам никакой возможности обращать хоть сколько-нибудь внимания на окружающее. Поэтому мы были очень удивлены, когда, войдя в раздевальную, не нашли там никого и никакого верхнего платья. Тем не менее, мы отправились к своим занятиям.

Минут через 20 ко мне явилась Нина со встревоженным лицом:

— Коля, что это значит? До сих пор никого нет; даже сторожей нигде не видно.

Я тоже обеспокоился и пошел разыскивать. Наконец, мне удалось найти швейцара в его каморке: он с женой торопливо укладывали вещи.

— Что это значит, Иван? — спросил я с удивлением.

— Да разве вам не известно? — переспросил, в свою очередь, швейцар.

— А что?

Но сердце у меня уже упало.

— Вот, пожалуйста, у ворот прочтите.

Я бросился к воротам. На стене дома было наклеено громадное объявление следующего содержания:

«Доводится до всеобщего сведения, что в ночь с 28 на 29 июня, в 1 ч. 10 мин. утра по Петербургскому времени, должно произойти столкновение Земли с кометой, пересекающей ее путь. Из населенных местностей подвергнутся удару, главным образом, Шпицберген, северная часть Скандинавского полуострова и побережья Белого моря, Ботнического и Финского заливов. По отзыву компетентных лиц, опасаться общей катастрофы для всего земного шара нет оснований; но, во всяком случае, для жителей названных местностей и даже ближайшим к ним столкновение грозит гибелью. Поэтому население Финляндии и губерний: С.-Петербургской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, Новгородской, Псковской, Ковенской, Виленской, Гродненской, Минской, Могилевской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, Ярославской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской, Вятской и всех Привислинских приглашается немедленно выехать на юг; проезд до железным дорогам в пределах выше показанных губерний с 22 сего июня по 28 включительно бесплатны. Громоздкие вещи и животные на поезда приниматься не будут.

Жители приморских местностей приглашаются оставить перед 29 июня свои жилища, которым грозит опасность затопления в момент удара, и удалиться в возвышенные местности. Всем вообще в момент столкновения следует быть вдали от строений, могущих обрушиться.

О скорейшем оповещении жителей перечисленных выше губерний через местную администрацию и путем объявлений в газетах приняты меры».

Так вот что значит безлюдье в правлении! А мы-то, прилежные!

Прочтя это объявление, я, конечно, помчался к Нине, и мы немедленно отправились в Лесной приготовиться к отъезду. Сегодня выехать было трудно: необходимо было собрать кой-что более ценное и не громоздкое; а притом сегодня, вероятно, и не добьешься к вокзалам. Поэтому мы условились ехать завтра утром, а встречу назначили у Николаевского вокзала.

Нина при этом всплакнула еще сверх, так сказать, абонементы, так как нам приходилось ехать вместе лишь до Москвы, а далее наши пути разделялись: ей с родными на Рязань, мне на Курск.

Потом она ожесточилась:

— Я все, все время с тобой буду. Скажу им, что ты — мое начальство.

Подумав несколько секунд, она добавила:

— И впрямь начальство! Что бы ты ни сказал, я все бы сделала!

Но что я мог ей сказать? Не поехать к родным, разорвать с ними было выше моих сил; а везти ее с собой было совсем несурзное дело. Но судьба распорядилась по-своему.

И как я потом сожалел об отсрочке выезда!

XVI

Меня особенно удивило то обстоятельство, что физиономия города почти не изменилась; на Выборгской стороне даже фабрики еще работали. Конка в Лесной еще ходила; разговорившись с кондуктором, я узнал, что они кончат сегодня в 12 час. дня, затем отправятся в депо получать жалованье, а затем по домам. И он, представьте себе, был как будто доволен этим!

Да, никаких признаков особенной паники я не заметил: публика на конке была в угнетенных чувствах, прохожие

спешили как будто больше обыкновенного. Вот и все! Белые листы печального объявления были расклеены всюду, и я только удивлялся, как это не обратил на них внимания раньше. Но народа возле них почти не было.

Подъехав к разъезду у Нейшлотского переуллка, мы сделались свидетелями интересной сценки: из дверей трактира выбросили кошку, ее стало рвать; через секунду оттуда же вылетел, вероятно, при постороннем содействии, пьяненький, остановился на панели, покачался, посмотрел на кошку и вдруг заорал:

— Городовой, возьми ее в участок! Не видишь разве? У, свинья!

И тут его тоже вырвало. Оправившись и видя, что поезд трогается, он неверными шагами побежал к вагону и стал карабкаться на площадку. Кондуктор, строгий законник, сначала предложил ему удалиться, но потом, благодаря нашему предстательству, оставил его в покое, потребовав лишь, чтобы он сел. Но пьяненький упорно молчал и ни за что не хотел садиться, хотя на ногах держался скверно. Так как он к тому же не хотел или не мог уплатить 6 коп., то кондуктор у Бабурина переуллка стал «просить его честью». Пьяненький — ничего, слез без всяких препирательств и остановился посреди улицы; мимо него прошел первый вагон, второй; тогда пьяненький, хлопнув себя руками по бедрам, поднял недоумевающе плечи и процедил:

— Ска-а-жи-те!

Немного дальше на краю тротуара стоял, ожидая ухода поезда, маленький мальчугашка лет 3-4; на лице его было написано сознание важности возложенной на него задачи: ему было поручено принести молока в чайнике, и он вцепился в него обеими ручонками. Пьяненький посмотрел и на него, сделал ему ручкой и поплыл прямо по мостовой, но так, как будто это была палуба корабля во время сильнейшей бури.

Я смотрел на все это, а сердце у меня ныло примысли об участи, ожидающей, вероятно, и пьяненького, и мальчугашку, и меня.

Возвращаясь домой, я прежде всего отправился к Пете, но не застал никого дома, хотя квартира была отворена. Придя к себе, я узнал, что они все уехали на Николаевский вокзал и предупредили Василису, чтобы она посоветовала и мне немедленно ехать туда. Василиса только за тем и сидела дома, так как у нее все уж было готово. Я отпустишь ее в дорогу, а сам стал укладываться.

Разбирая свои бумаги, я наткнулся на связку старых писем. Боже мой, сколько воспоминаний нахлынуло на меня! Как водится в таких случаях, я сел в кресло и задумался.

Промелькнуло в моей памяти веселое, задорное личико, как бы говорящее: «Ну-ка, кто посмеет меня задеть?» Оно осветило некогда минуту моей жизни и затем вышло замуж за акцизного надзирателя. Промелькнуло и скрылось так же скоро, как скоро было забыто.

Вспомнилось и другое личико, бледное, умное, не то, чтобы очень красивое, но чертовски симпатичное... Ну, тут дело тянулось побольше. Вспомнилось еще многое, к чему уже не возврата. Вот и еще, и еще... Ah, si la jeunesse savait!..

Но как ярки и жизненны были тогда краски и как они бледны теперь!

Да, время безжалостно распоряжается с людским прошлым. Волна его исподволь смывает былые впечатления и вкусы, затем полегоньку подбирается к самим фактам и мало-помалу погребает в пучине своей и людские деяния, и людские надежды, и самих людей.

Мне сделалось так тоскливо, тоскливо. И, как нарочно, ни одного веселого воспоминания! И есть они, да не приходят на ум! Это ужасно! Этак погибнешь с тоски!

Для развлечения я пошел гулять.

Выйдя на Большую Спасскую, я пошел по дороге в Мурино и, пройдя Гражданку, вышел в поле. Пустынная дорога и пасмурная, холодная погода нисколько не способствовали рассеянию моей тоски. Серое, серое небо без малейшего просвета; высушенная солнцем и покрытая пылью трава давала такой же серый колорит уходящей в даль однообразной равнине; даже деревья точно посерели.

По направлению к Петербургу шла пара: старик и старуха; оба серые, согнувшиеся, оба с морщинистыми лицами, оба с палками; только старик казался повыше да чуточку поживее, лицо же старухи выражало одно тупое безразличие.

Мимо меня к Мурино проехал какой-то, с виду торговец. Старик обратился к нему:

— Поштенный, а, поштенный!

— Чего тебе, дедушка? — приостановил тот лошадь.

— Хотем мы тебя спросить; сказывают, планида есть на небе, знамение показывает.

— Какое там знамение! Прямо погибать будем.

Торговец, видимо, раздражен. Старичок в недоумении:

— Как же погибать-то?

— Да так же: притиснет тебя этой самой кометой, и дух вон. В ней-то, в штуке в этой, может, миллион пудов будет. Одно слово, светопреставление.

Молчание. Старик пожевал губами.

— Страшный суд, значить. Ах-ах-ах! Все за грехи наши.

— То-то у нас курица петухом запела, — внезапно прошамкала старуха. — Говорила, не к добру.

И замолчала, тупо уставясь перед собой. Но старичок еще не успокоился:

— Да кто сказал-то тебе?

— Кто сказал, кто сказал? Ученые люди говорят, которые знают. В городе объявления вывешены. Да вы-то, старички, чего обеспокоились? Вам и без кометы сегодня-завтра давать ответ Богу.

Старик пропустил мимо ушей жестокое замечание торговца, но тот и сам спохватился и постарался загладить проступок:

— А впрочем, коли хотите уехать, так начальство даром повезет по чугунке в Москву ли, в Варшаву ли.

Старик все жевал губами, а старуха все так же тупо глядела перед собой.

— Ну, мне недосуг. Прощайте, старички!

Торговец хлестнул лошадь и покатыл дальше.

Постояли старички, еще больше как будто согнулись, потом повернулись и побрели через поле, задумчиво бормоча:

— Пришла пора Божья!

И шелест их шагов по высохшей траве словно подшептывал им:

— Пришла, пришла!

Я почувствовал, что по горло сыт удовольствием, испытанным от прогулки, и отправился назад. Минуты через две я оглянулся и проводил глазами стариков; и еще печальнее показались мне на сером фоне поля эти две серые же фигуры, медленно плетущиеся, понутив головы.

Проблуждав некоторое время около дачи, где жила Нина, но без желанного результата, я направился домой.

Проходя по Болотной через лесок, я увидел шедшую мне навстречу старушку в старомодном салопе и с большим ковровым ридикюлем в руках; она, очевидно, несла с собой и на себе все свое достояние. Далекие воспоминания юности, своеобразная тоска по родине охватили меня. Сколько раз в детстве я видал таких старушек и в таких салопах, и с такими же вуалями на лице, и всегда они казались мне не чем иным, как только старушками; а теперь мне показалось, что передо мною — реликвия прошлого, памятник одной из стадий моего развития. И сделалось мне так грустно, так грустно, как будто в образе этой старушки я увидел самого себя.

Где вы, золотые сны моей юности, где обольстительные мечты и широкие планы первокурсника-студента? Минуло только пятнадцать лет, а мне кажется, будто пятнадцать веков стоят между нами. Боже мой, Боже мой, где та наивная вера сердца во всемогущество правды, в непроборимую силу хороших слов и теорий? Все прошло, все разлетелось, как дым, оставив горький осадок разочарования и тихой грусти. Да и могу ли я теперь, через 15 лет, оставив в стороне личные симпатии и антипатии, категорически считать что-либо хорошим или дурным? Где я найду для этого основания, достаточно веские для всех? Наконец, и с моей нынешней точки зрения... Ах, хорошие

люди — не так хороши, а дурные — не так дурны, как казалось в 20 лет! Мы узнали закон светотени, рельефы сгладились, Карлы Мооры оказались Рошфорами или лордами Розберри, Францы Мооры превратились в дисконтеров. а Амалии... э, лучше не будем говорить об Амалиях.

От горя я залег спать в 8 часов вечера и спал не так, чтобы очень плохо.

XVII

Следующий день был день сюрпризов и притом сюрпризов неприятных: впрочем, сюрпризами их назвать нельзя, ибо все легко было предвидеть.

Прежде всего, я никак не мог дождаться конки, пока не вспомнил вчерашнего разговора с кондуктором и не сообразил, что я не дождусь здесь конки уже никогда. Тогда я отправился к часовне, питая смутную надежду, что найду там извозчика. Их, однако, тоже не было, что являлось вполне логичным фактом.

Приходилось идти пешком; это не очень затруднило бы меня, если не было со мною довольно увесистого чемоданчика. К моей радости, с Большой Спасской показалась тележка, в которой сидели мужик и баба с ребенком на руках; в тележке была разная кладь: узлы с платьем, подушки, самовар, даже ухваты. Баба все всхлипывала и утирала рукавом слезы.

— Не подвезете ли меня?

— А вам куда? — спросил мужик.

— На Николаевский вокзал.

— Можно, мы сами туда едем.

— А что возьмете?

— Да рублик положьте уж: лошадке-то трудно будет.

— Ну, ладно.

Я сел рядом с бабой, чемодан положил на колени (больше некуда было деть), и мы потряслись вниз по Малой Спасской.

Доехав до институтского парка, мужик обратился ко мне:

— Что, барин, уезжаете отсюда?

— Конечно; ведь несладко будет, если прихлопнет сверху, как таракана.

— Вон и мы собрались. Горько было добро свое бросать, ну, да жизнь дороже. А есть, которые не хотят ехать.

— Неужто? Почему же?

— А не верят; необразованность, да и на милость Божию уповают; а которые так говорят: коли быть светопреставлению, так и в Москве пристигнет.

— Ну, напрасно: во-первых, это и не преставление, а просто комета; притом ученые говорят, что только у нас да в Финляндии нельзя оставаться; а за Москвой, пожалуй, все обойдется благополучно.

— Вот и я так говорю; ученые люди, астрономы, они знают, над тем поставлены; предскажут затмение Солнца или Луны, ну и в ту самую минуту, как сказано. Вон и ей говорю.

Он кивнул на бабу.

— Коли б спастись никак нельзя было, так начальство и не приказывало бы уезжать. А то, вишь ты, даром еще повезут.

— Ну, а она что?

— А она все ревет.

И он с сердцем хлестнул лошадь. Баба еще пуще заревела и обратилась ко мне, перемешивая слова с рыданиями:

— А какво расставаться-то! Сродственничков всех бросили, могилки родные! А что добра-то, добра: изба, коровушки! Все ведь потом-кровью нажито.

Мужик живо обернулся:

— Ну, вот и все так пишшыт. Дура! Мне-то что ж, легче, думаешь? Да ведь коли живы, здоровы будем, так и еще наживем. А коли от тебя только мокро останется, тут уж никакого средства. Жизнь-то, она дороже избы!

Он помолчал с минуту.

— Насчет могилки, это она совсем пустое говорит. А что касательно сродственников, так кто им не велит? Сказано,

даром повезут: удирай только. Э-эх, дубье!

Мужик энергично плюнул и опять хлестнул лошадь, которая, заинтересовавшись нашим разговором, стала уж идти шагом. Через несколько минут мужик опять обернулся ко мне:

— Ну, положим, так: летит она на нас. А только вот чего я в толк не возьму, какая она, эта комета? Камень, что ли?

— Надо полагать, — отвечал я, — что эта комета вроде киселя. Обыкновенно кометы состоят из газа, вот как пар, что ли. А эта мошенница гораздо поплотнее.

— Чего ж ее бояться, коли она — кисель?

— А как вы думаете, если такой кусок киселя, величинной, примерно, с губернию, шлепнется оземь, может ли что остаться в целости? Даже воздух, на что уж легкая вещь, а сильный ветер крыши ломает, деревья с корнем рвет; а комета гораздо гуще да и летит в десять раз быстрее самого сильного ветра.

Даже баба, притихшая было, поняла, кажется, мое объяснение, ибо вдруг как заголосит опять. Мужик только угрюмо понурился,

Тут мы выехали на Большой Сампсониевский проспект. Здесь было оживление: ехали, шли, бежали и все по направлению к городу. Чем ближе к городу, тем гуще становился поток людей, а на Александровском мосту ехать пришлось совсем шагом, то и дело останавливаясь.

В толпе раздавались рыдания, детский плач; кого-то притиснули, и он загибал трехэтажные слова. Многие лавки стояли открытыми, но не было ни покупателей, ни даже продавцов. Впрочем, иные, жалея пропадавшего даром добра, забегали в магазины и пропадали там надолго, другие выходили уже с узлами товара, купленного, очевидно, с расплатой на том свете. Но большинство безучастно относились к возможности попользоваться: призрак близкой смерти отгонял все меркантильные побуждения; да и надо было торопиться.

Приблизившись к Невскому, наш живой поток был задержан. Вся правая сторона Невского была занята длин-

нейшим обозом: везли деньги из Государственного банка. Линия телег растянулась от Николаевского вокзала далеко за Аничков мост. Тяжело стуча на рельсах, тянулась телега за телегой, а рядом угрюмо и сосредоточенно шагали солдаты с ружьями, конвоировавшие обоз. На Владимирскую никого не пускали до прохода обоза. По левой стороне Невского тянулся такой же поток, как и наш.

Наконец обоз прошел. Струя людей разлилась по всему Невскому. Кой-как, маленькими частями и наш поток стал подвигаться: часть врезалась во Владимирскую, перерезая струю народа, двигавшегося по Невскому, часть направилась налево, к Знаменью.

Мало-помалу мы достигаем вокзала; но сколько-нибудь приблизиться к нему нечего и думать: вся Знаменская площадь, все прилегающие к ней улицы залиты народом; масса телег, карет, пролетов, голов, конских морд, узлов, сундуков, чемоданов.

Теперь и наша река запружена; ряд за рядом примыкает к образовавшейся ранее толпе, народ заливает все пространство, и я вижу, что скоро нельзя будет ни проехать, ни даже пройти. Что же остается?

— Ну что ж, обождем, — говорит мой возница, точно в ответ на мой мысленный вопрос.

Обождем! Да и делать больше нечего. Но как мне найти в этой толпе Нину? Мы в наивности своей условились, что встретимся у вокзала, нисколько не ожидая, что встретим там людское море.

В толпе идут разговоры. Большинство угнетено, но слышатся и шуточки. Кто-то запасся «мерзавчиком», «раздавил» его и, утирая усы, замечает:

— А ничего! Перед светопреставлением водка еще вкуснее кажет. Вот только закусить нечем.

Рядом запротестовали:

— Окстись, братец!

— Ладно, и без закуски хорошо! И придет же в голову человеку! Везде плач, смятение души, а он за водку!

Говоривший даже сплюнул.

— Что ж, по-твоему, делать? Все равно помрем: востроломы говорят. А с водкой-то оно слаще.

Слыша такие слова, мой сосед завздохал:

— Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй!

Пивший водку обернулся к нему:

— Что, дядя, аль много нагрешил, что так о милости Божией обеспокоился?

— Ах, грешны мы, всем грешны: и духом, и плотию, и всякий час, всякую, можно сказать, секунду подобает нам молить о милости Божией. Страшный-то суд не за горами. А из-за таких-то, как ты, и нас Господь не помилует.

Я взглянул на соседа: лицо постное, худощавое, немножко будто с аскетическим выражением, но пиджак и картуз новые; даже бородка аккуратно подстрижена. Откуда бы такой проповедник. Тем не менее, упоминание о Страшном суде подействовало даже на гуляку; он примолк и только посапывал носом.

— Солдат-то еще третьего дня отправили, — слышалось в другой группе.

— Солдата беречь надо: он человек казенный.

И вдруг расчихался:

— А, чха! А, чха! Прррст! А, чха! Ах ты, сделай милость, что это за нос такой!

Потом, поколотив пальцем по носу, заявил с предупредительностью:

— Ноздря загуляла! Вертит в носу да и только!

— А на вокзале-то! Говорят, всякий уголок, всякая щелочка заняты.

— Еще бы! Вон она, какая сила, народу-то!

Да, сила была необычайная, и к ней все приливали и приливали новые батальоны. Наконец и Невский, насколько можно было видеть, покрылся морем голов.

Как бы там ни было, а есть все-таки хочется. С собой нет ничего, просить неловко, да и у кого? Каждый для себя бережет. Я кой-как пробился направо к колбасной, намереваясь купить себе чего-нибудь.

Вхожу туда. Товара осталось совсем мало; но еще кой-какие куски валялись. Я захватил их побольше и хотел затем расплатиться, но, несмотря на самые усердные поиски, не нашел никого, кто бы взял от меня деньги; в задней комнате оказалась только кошка, которая почему-то жалобно замыкала и начала тереться у моих ног. Бедное животное! Оно видело, что происходит нечто необычное, и инстинктивно тревожилось.

Итак, я не нашел никого из хозяев, но нашел огромный кусок черствого хлеба, который был мне очень кстати. Позавтракав тут же и завернув свои остальные, скажем, приобретения в бумагу, я вышел на улицу. Как раз в это время произошла подвижка народа, и я вместе с течением был вынесен на Лиговку.

Так полегоньку подвигаемся мы к вокзалу и наконец, после полуночи мы уже в вокзале и даже на платформе. Теснота, действительно, невероятная: нет места и булавке. Впрочем, нет, это неправда: для булавки нашлось бы место, но рукам было совсем плохо: например, чтобы высморкаться, приходилось произвести целый ряд совершенно необычных для данной операции телодвижений: сначала пошевелить плечами и даже всем корпусом, чтобы просунуть руку в карман за платком, а затем, продолжая шевелиться, вытянуть эту руку наружу таким движением, каким вытаскиваешь из горлышка бутылки упорно сидящую там пробку. Но и после преодоления таких препятствий вовсе не устранялась опасность, что высморкаешься на свое платье или в плечо соседу. И, сверх того, кругом неодобрительные возгласы потревоженных вашими телодвижениями соседей:

- Какая это свинья там чешется?
- Вы, барынька, приглядывайте за карманом-то! Он у вас вон как оттопырился. Мудрено ли залезть жулику!
- Неужто ж деньги там держите?
- Ах, нет, нет! Это так, мелочи, пустяки разные, — говорит сконфуженно барынька и начинает тоже шевелиться и выгужать что-то из заднего кармана платья.

Мне бросается в глаза нечто очень похожее на футляр для драгоценностей, а затем я хорошо разглядел туго набитое портмоне. Пустяки разные скрываются в ридикюле, и все успокаивается.

Но если плохо было нам, здоровым людям, то каково бедному чахоточному, стоявшему рядом со мною! Яркий румянец горел на его впалых щеках, нос как-то заострился, он постоянно кашлял, харкал и так уж и держал платок у рта, взглядывая на него всякий раз после плевка; и всякий раз появлялись кровавые жилки. Мы снисходительно относились к беспокойству, причиняемому чахоточным, но в душе у каждого была мысль: неужели и этот цепляется за жизнь? Один жестокий, имевший толстые щеки, даже сказал ему это в более мягкой, правда, форме, и чахоточный лишь смерил его горящими от ненависти глазами и ничего не ответил. Его оставили в покое.

Я успел уже проголодаться и собрался ужинать. В предотвращение гнева соседей угощаю их и тем усмиряю львов; стоящие дальше и не угощаемые все-таки протестуют, но я не обращаю на это внимания.

Однако, мы стоим уже давно. Последний поезд, который мы видели, ушел часов в 12 ночи настолько переполненным, что люди сидели даже на ступеньках площадок. Но осталось неизмеримо больше; везде: в комнатах, на дворе, между рельсами, на платформах, даже под платформами расположились люди и в последнем месте очень, очень комфортабельно: лежат себе, покуривают, ведут речи веселые; кто храпит во все носовые завертки. А мы на платформе стоим. Ноги затекают, ноют и вообще неудобно; на площади все-таки можно было присесть, даже пройтись, а здесь не присядешь. А между тем, уже восходит солнце другого дня.

XVIII

Еще день канул в вечность, и мы на день ближе к смерти.

Странно, но эта мысль никого не успокаивает. Напротив, стоящие начинают обнаруживать признаки нетерпения. Там и сям раздаются возгласы, свидетельствующие о недостаточно миролюбивом настроении возглашающего. Но другие умеряют его нетерпение, указывая, что поездов из Москвы «по расписанию» нельзя ждать раньше 7 часов утра. Наивные! Они еще верят в расписание! Напрасно-с! Наступает 7, и 8, и 9, и 10 часов, и никаких поездов не видно. Но велико терпение людское, и мы все стоим, хотя давно уже подгибаем то одну ногу, то другую, чтобы дать им хоть немного отдохнуть; но уйти с платформы не решаемся, ибо, видите ли, с нее легче войти в вагоны, когда они подойдут.

А они все не идут, и мы безуспешно устремляем тоскливые взоры в сторону Американского моста, надеясь увидеть там хоть призрак поезда. Впрочем, не все: многие так, стоя, и спят, опустившись на соседей и вызывая этим справедливые упреки, которым, однако, не внемлют.

Внезапно в толпе проносится неизвестно откуда почерпнутое сведение, что поездов и ждать нечего, что машинисты все уехали на юг и не желают возвращаться в Петербурга, где еще как-нибудь застрянешь и погибнешь. Вернее всего, что это не сведение, а свободное измышление какого-нибудь свободного художника мысли, но оно очень правдоподобно и более чем вероятно.

Толпа свирепеет. Возгласы негодования раздаются все чаще. Слух доносится до стоящих вне вокзала, и там начинают действовать; конечно, им обидно: мы хоть рельсы видим, а они даже этого скромного удовольствия лишены. Слышны грозные крики, вопли, и мы ощущаем напор. Тогда наша толпа, в ярости от бесплодности своего полусуточного стояния, рассыпается по путям. На смену ей врывается новая волна снаружи. Теперь уж рельс не вид-

но; одна движущаяся масса голов.

Толпа ревет, ищет железнодорожное начальство, но его нет. Если оно и не уехало, то благоразумно спряталось.

Не имея никого живого, чтобы сорвать гнев, разъяренный народ принимается за неодушевленные предметы; неистовствуя, он разносит все, что может поддаться его усилиям; буфетные стойки, книжный шкаф, диваны, скамейки ломаются, посуда, лампы, зеркала, оконные стекла бьются вдребезги. Бланки и книги из конторы начальника станции вылетают на платформу, и их рвут на клочки.

Да, зверски ведет себя разъяренный человек! Меня, однако, это стихийное чувство разрушения не захватило. Один раз только, больше из любопытства, я ткнул кулаком в стекло, оцарапал руку и затем со спокойным духом, но без всякого сочувствия взирал на подвиги соратников. А подвиги эти были необычайны; скоро в залах вокзала были только кучи обломков мебели, битого стекла, обрывков материй, а все окна и даже двери зияли своими отверстиями, словно голодными ртами.

Но этих подвигов было мало; нашлось другое дело, не менее грандиозное.

Проносится весть, что где-то в паровозном сарае нашли забытый локомотив, и добровольцы из публики снаряжают его. Мы летим туда.

Действительно, вскоре выезжает паровоз.

— Ура! — ревет народ.

Но бедный локомотив как будто и не рад этим овациям. Старый, облупленный, он уж, должно быть, и для маневров не годился, а стоял на покое в ожидании, когда мастерские найдут досуг заняться им. Но вот он понадобился для другой, высшей миссии. Я не вижу, однако, чтобы он был польщен ею; напротив, старик стоит хмуро, не ожидая ничего путного от добровольцев.

Нашлись и добровольцы-стрелочники, и добровольцы-сцепщики. Паровоз подан к готовому уже составу товарного поезда, и толпа бросается в вагоны. Я стою слишком далеко и не могу пробраться к ним, но это мое счастье, так кик у вагонов начинается сверхъестественная давка.

Мне кажется, что в ней я вижу тетку Нины; она пытается взобраться в вагон, но обрывается и падает; падает и, как многие другие, скрывается в дико напиральной толпе, которая по их телам, как по ступенькам, добирается до вагонов и торжествует, несмотря на раздирающие крики и стоны внизу. И такая сцена у каждого вагона! Везде раздаются вопли боли и отчаяния. Ищу глазами Нину, но нигде не вижу.

Наконец, вагоны полны, и оставшиеся с завистью смотрят на счастливых; последние, висят чуть не на гвоздике, утешают непопавших, что, приехав в Москву, они непременно пришлют сюда много, много поездов. И притом безотлагательно! Эта надежда, однако, мало прельщает; один из утешаемых вместо благодарности резко предлагает утешителю:

— Знаешь что, брать: пусти меня на свое место, а сам подожди поездов, которые я пришлю.

Утешитель безмолвствует.

Никто не обращает внимания на жертв давки, из которых некоторые еще имеют силы отползти в сторону, а большинство и этого сделать не в состоянии.

Ну, в путь! Но поезд ни с места, хотя паровоз рвет. И где ему, дряхлому, несчастному, взять чуть ли не семьдесят вагонов, набитых битком живым товаром! Притом, по мнению добровольцев-машинистов, пар еще не поднят до нормы.

— Давай дров!

Я смотрю на все это и, представьте, нимало не завидую находящимся в вагонах: если паровоз и возьмет поезд, то все-таки мне, несколько знакомому с условиями железнодорожного движения, страшно подумать, что ждет пассажиров при добровольцах-машинистах и при отсутствии, наверное, всякого надзора за стрелками на промежуточных станциях.

Но паровоз не дал мне долго раздумывать на эту тему: произошло нечто непредвиденное, невообразимое.

Паровоз на моих глазах вдруг вспухает и его разворачивает пополам; его труба отделяется и, пролетев нес-

колько десятков шагов, падает в кучу народа передо мною. Слышен громовой, точно пушечный выстрел, и мгновенно локомотив и все кругом него окутывается облаком пара. В первую секунду я даже не понял, в чем дело, но раздавшийся вопль искалеченных уяснил мне смысл происшедшего.

В паническом страхе, не сообразив даже, что все уже кончено, я лечу прочь от этого места, боясь даже оглянуться, лечу стремглав, расталкивая локтями толпу, и вдруг налетаю на плачущую Нину. Она, бедная, стоит одна-одинешенька! Как она бросилась ко мне! Я беру ее за руку, и, сам чуть не плача, стараюсь увести от этого места, боясь сказать ей, что, должно быть, ее тетку я видел в числе жертв давки у вагонов.

В это время из-под крыши ближайшего товарного пакгауза вырвался столб огня и дыма; затем из другого, третьего и пошла писать; деревянные, хорошо высушенные, они запылали сразу. Очевидно, нашлись и добровольцы-поджигатели, которым захотелось перед неизбежным концом потешить себя эффектным зрелищем.

Я тороплю Нину уйти. Мы кой-как выбираемся из вокзала и видим, что Знаменская площадь полна, как и раньше, народом. Втихомолку, ничего никому не говоря, мы поворачиваем налево и идем к Варшавскому вокзалу.

Там, однако, то же самое: такое же скопление народа, поездов с юга нет, и, судя по настроению толпы, в ближайшем будущем нужно ожидать такого же погрома, как и на Николаевском вокзале.

Но мы уже хладнокровно относимся к этому; реакция после испытанного нервного потрясения в связи с бессонной ночью и страшной усталостью ног и всего организма заставляют думать только об одном: «Где бы прилечь поскорее?"

Вблизи вокзала мы находим грязную гостиницу, брошенную всеми, входим в один из номеров, видим две кровати и не раздумывая об отсутствии постельного белья, даже не заперев дверей, бросаемся, как есть, в одежде на

матрацы и засыпаем мертвым сном людей, около 30 часов пробывших на ногах, почти не присев.

Вот когда я понял, что значит суточное дежурство стрелочника!

ХІХ

Проспали мы, должно быть, часов 16 или 17, ибо, когда я проснулся, то на моих часах было уже 10 часов, очевидно, утра; разбудило меня ощущение сильнейшего голода, терзавшего, как выражаются поэты, мои внутренности. Просыпаюсь и не могу понять, где это я; помню, что я только что ел хорошие щи, но все не мог наесться, рассердился и проснулся.

В состоянии неведения я пробыл, впрочем, недолго, всего несколько секунд, пока не увидел Нину на другой кровати. Тогда я все припомнил, немножко закручинился и в таком настроении посидел некоторое время. Затем, найдя, что я уже достаточно погоревал, встал и начал искать, где бы умыться. В номере воды не оказалось. Я отправился в кухню к водопроводному крану. Нашел я и кухню, нашел и кран, но воды и там не оказалось; я сначала очень рассердился на водопроводную комиссию, но потом сообразил, что воды в кране уже никогда не будет.

Тогда я пошел бродить по номерам и в одном из них нашел умывальник, полный воды. Теперь не хватало только полотенца, но и его я отыскал в комодке в конурке, служившей, очевидно, пристанищем прислуги.

Основательно умывшись, я пошел будить Нину. Она сначала все отмахивалась, но наконец пришла в чувство, вскочила и немедленно задала мне вопрос:

— Ну, что ж теперь делать?

Я многозначительно высморкался и после некоторого раздумья сообщил ей, что остается одно: умыться. Это мало утешило Нину, но она признала полную основательность моего вывода. Сопутствуемая мною и моими указа-

ниями, она привела в порядок свою физиономию и волосы, а затем, потребовав моего удаления, и платье.

Затем я так же, как и третьего дня, отправился на рекогносцировку. Нашлась и здесь колбасная, а в ней целый, даже непочатый окорок вареной ветчины; было там и еще кой-что, но мне показалось, что довольно и окорока. Но дороге я забрел и в булочную и нашел там много хлеба, очень, правда, черствого; но, понятно, я отнесся к этому явлению самым равнодушным образом.

Нагрузившись провиантом, я возвратился к Нине. Нашли мы и самовары (чуть не десяток), уголь, и чай, и сахар, поставили самовар и стали распивать чай, поглощая ветчину целыми ломтями. Очень вкусным показалось нам такое препровождение времени.

Но есть предел всему, даже аппетиту людей, не евших более суток. Мы набили свои желудки до пределов невозможного и сочли долгом отдохнуть. Возлегли на кровати в лучшем из номеров, мы стали заниматься приятными разговорами.

Теперь даже грозное будущее показалось нам в более розовом свете. Мы высказали твердую уверенность, что должны быть еще поезда, что нас так не оставят и, набираясь понемногу светлых надежд, решили, что, вероятно, поезд уже тут. Надо было сходить, посмотреть! Сейчас же мы снялись со своих удобных мест и отправились в путь.

Но увы! На Варшавском вокзале погром уже кончился, и народ расходился после представления. О поездах не было, конечно, ни слуху, ни духу. Мы отправились на Николаевский вокзал.

На Знаменской площади босой субъект с всклокоченными волосами и открытой грудью взлез на телегу и зычным трагическим голосом проповедовал собравшемуся вокруг него народу. Мы из любопытства подошли послушать.

— Летит ангел Господень с огненным мечом, летит и как ударит! Как полыснет, так и расступится земля, и полетим мы в геенну огненную. Ух! Вот он, Страшный суд-то! И станут нас пытаться-спрашивать: что вы делали, зачем грешили, псы смердящие? Ох, жарко будет там! Покайте-

ся, православные! Ниц, падите ниц, и отверзите сердца своя! Пред Господом надо предстать с покаянием. Все он, Милостивец, знает, что и мы забыли. Ты, небось, забыла! — бросил вдруг проповедник бабе, внимавшей ему с дрожью.

Та вдруг как завопит:

— Ой, жжет мою душеньку, жжет, вот так и пылаить! Окаянная моя голова: сгубила я робеночка. Своим рукам задушила, в речку бросила..,

— У, лютая грешница! — гремел проповедник. — Не будет тебе прощения!..

— Ой, не будет, не будет! Так у него, родненького моего, глазки и закатились, дагнула я, а они и закатились...

Глядя на нее, и другие бабы стали голосить. Дальше уж мы не могли выдержать и поскорее ушли, чтобы не слышать этих визгливых воплей отчаяния, этих выкриканий, режущих душу и бьющих по нервам стопудовым молотом.

На Николаевском вокзале была мерзость запустения. Народ уже разошелся, и только несколько десятков еще уповающих устроились в комнатах без окон и дверей, время от времени выбегая на платформу при всяком подозрительном шуме и устремляя взоры в сторону Американского моста.

Пакгаузы уже догорели, сгорел и поезд, с которым добровольцы-машинисты устроили такую неблагоприятную историю. Горела Боткинская барачная больница и колония Сан-Галли, и начинали загораться извозчичьи дворы на Предтеченской улице. Гарью пахло невыносимо.

Там и сям виднелись трупы задавленных накануне у вагонов и убитых взрывом. В общем, зрелище было ужасное, и мы предпочли удалиться. Батюшки, вот и мой чомоданчик, забытый мною, когда я бежал после взрыва. Вот хорошо-то! Впрочем, зачем он мне теперь? Пускай лежит до светопреставления! А тогда нам с ним один конец.

— Пойдем на набережную, взглянем последний раз на Неву, — предложила Нина.

Я согласился взглянуть последний раз на Неву, но не упустил заметить, что если ей угодно, то мы еще много раз можем взглянуть на Неву: в нашем распоряжении с лишком трое суток. Зачем я это сказал? Не знаю; вообще я не злой человек... Так, должно быть, сдуру, и дал лишь повод Нине вздохнуть; но она не сочла нужным обличить мое ехидство.

На площади проповедник уже кончил, но нашелся другой в черном пиджаке. Бабы вопили пуще прежнего. Мы обошли сторонкой и вышли на Невский.

Здесь было оживленное движение, хотя какое-то растерянное, бесцельное: человек идет, идет быстро, с озабоченным видом, потом внезапно останавливается, или садится на скамейку, или возвращается так же быстро обратно. У большинства растерянные лица, движения, точно они забыли что-то и никак не могут вспомнить. Только дети, как и всегда, впрочем, сохранили свою беззаботность.

Когда мы дошли до Надеждинской, из ближайшего дома выскочил мальчишка лет 10-12. Он, казалось, очень спешил, но увидел пуделя и задержался, чтобы осчастливить его своим вниманием. Сделав из рук кольцо, он с чарующей душой лаской приглашал пуделя прыгнуть в это кольцо. Невежа, однако, не обратил никакого внимания ни на ласку, ни на приглашение и, дерзко вильнув хвостом, побежал вглубь Надеждинской.

После детей наиболее нормальными казались — кто бы, вы думали?.. Пьяные! Да, пьяные! Они выписывали свои мыслете так же грациозно, как и раньше, до вести о комете: настроение духа у них было самое приятное. Но сколько их! И какая свобода! Хочешь подпереть дом или фонарь — подопрь, хочешь отдохнуть, прилечь на улице, — сделай твое одолжение! Одним словом, лафа, полное удовольствие!

Благодаря этому, мертвые тела рассеяны были всюду, и прохожие не обращали на это никакого внимания, разве если уж мертвое тело рвет с перепоя.

Одно из них устроилось уже на покой близ водосточной трубы, но перед отдохновением хотело немножко по-

петь. И вот понеслись невероятные, какие-то скрипучие звуки:

— Уж я лесом шел...

Певец клюнул носом.

— Полу... полуштоф нашел...

И опять остановки, так как понадобилось рыгнуть на всю улицу; проходившую даму так и понесло в сторону.

— Уморился... да... умори... уморился... да уморился... да... умо...

И погиб, склонив голову под трубу. Еще бы ему не умереться!

XX

На Дворцовой набережной, которая и прежде не былалюдна, теперь царила пустыня. И как грустно было видеть окружающие дома без признаков жизни, часто с растворенными на улицу дверями!

Вот и Нева. Хороша она, как всегда, но есть в ней что-то необычное. Что бы это было? Мы становимся у парапета набережной, задумчиво глядим на реку, и вдруг я догадываюсь. Широкая, гладкая, как отполированное стекло, растилалась она и прямо, и вправо, и влево, и не было на всем этом стекле ни малейшей движущейся точки. По мостам еще двигались люди, но в совершенно ничтожном количестве и больше, как сонные мухи, а не как энергичные, сильные существа, какими они и были недавно. Оставленные на произвол судьбы барки и необычайная тишина кругом довершали впечатление запустения и заброшенности.

У Зимней канавки мы встретили господина, с радостным видом глядевшего на Неву. Странно, очень странно! Отчего бы такое удовольствие?

Он первым начал разговор:

— Не правда ли, хорошо? Нева и все вообще приобрело какую-то особую прелесть.

— Все, очевидно, окрашено предчувствием смерти.

— Вы думаете, я боюсь ее? О, нет! А так как-то особенно тихо, мирно, безлюдно. Новое, еще никогда не испытанное мною наслаждение разгуливать по обреченному на гибель городу. Обреченный на гибель город, обреченная на гибель страна...

Он повторял это, смакуя каждое слово.

— Чувствуешь себя здесь полным хозяином....

— Как так?

— Да кто же воспретит мне теперь? И да чего воспрепятствовать?

Он посмотрел мечтательно вдаль и продолжал:

— А какое предстоит нам зрелище! Необыкновенное, невероятное и в то же время грандиознейшее!

— Да, но лучше бы его не видеть!

— О, какое малодушие! Неужели те несчастные несколько лет, которые мы с вамп могли бы еще прожить, стоят того, чтобы ради них пренебречь возможностью быть свидетелем, очевидцем, участником мировой трагедии и переиспытать ощущения, никому еще не ведомые и необычайные?

— Но эти ощущения так и останутся неведомыми.

— Как это?

— Нельзя же ожидать, что испытавший их останется жив.

— Пусть! Зачем нам заботиться о других, имевших слабость пережить? А подумайте только, какая великолепная мысль! Природа говорит: я тебе покажу нечто небывалое, сверхчудесное, но это тайна из тайн; и тот, кто решится узнать эту тайну, должен заплатить за нее жизнью, чтобы не мог рассказать другим, малодушным.

— Так, по вашему, природа — нечто вроде Синеи Бороды?

— Нет, зачем же так? — скривился восторженный господин. — Не следует так опошлять возвышенные вещи.

Нина, вероятно, была не согласна с ним, ибо потихоньку дергала меня за рукав, чтобы идти дальше. Я поднял шляпу.

— Виноват, вы, кажется, торопитесь, — заметил любитель сильных ощущений. — Всего лучшего.

И он простился с нами самым вежливым поклоном.

Отсюда пошли мы в Летний сад, посидели там, поглядели на статуи, помолчали о разных вещах.

— Теперь, если бы везде находить хороших почтовых лошадей, еще можно бы к вечеру 28-го добраться до Москвы, — промолвил я.

— А если на пароходе? — задала вопрос Нина.

— На пароходе? Но куда? В Шлиссельбург нет расчета. В Данию разве? В трое суток доехать можно. Только едва ли теперь найдешь хоть один пароход.

— Попробуем все-таки пройти туда: все равно ведь гулять.

Отчего же не попробовать? Хуже не будет! Но, как я и предвидел, ничего из этого не вышло. На всем видимом пространстве Невы за Николаевским мостом не было не только парохода, но даже лодки; у эллингов стоял недавно спущенный броненосец, еще не снаряженный и потому, вероятно, оставленный. Оба берега Невы были пустынные и мертвые. Даже Николаевская набережная, обычно такая оживленная, теперь была безлюдна, как Сахара.

Мы вздохнули и повернули назад, в места более населенные, к вокзалам.

Проходя у Замятина переулка, мы услышали крик о помощи, затем еще и еще, уже слабее, как бы задушаемый. Я бросился в дом, откуда был слышен крик, и в первой же комнате увидел такую сцену: мужчина повалил женщину, судя по костюму, барыню или барышню, на пол и старался одолеть ее; платье женщины было разорвано. Она еще боролась, но исход борьбы легко было предвидеть.

Недолго думай, я, за отсутствием другого оружия, ударил мужчину ногой в бок так, что он отлетел в сторону и застонал, но сейчас же опомнился и вскочил с ругательством. Вступать с ним в единоборство мне было некогда, да и незачем: пущенный ему в голову графин с водой разлетелся вдребезги, но и противник мой растянулся в беспмятстве. Судя по одежде, это был арестант; очевидно, они, оставленные на произвол судьбы, вырвались на свободу и старались пользоваться выгодами положения.

После блестящей победы я обратил внимание на спасенную даму; она приподнялась и, сидя, рыдала, закрыв лицо руками и не оправляя даже беспорядка своей одеждой. Каюсь, когда я разглядел все детали, то хотя не извинил, но понял поступок арестанта: особа была весьма соблазнительная.

Нина стала успокаивать незнакомку, и та понемногу пришла в себя. Оказалось, что ее мать осталась у Николаевского вокзала, все еще надеясь, что придет поезд, а она вернулась на минуту домой взять кой-какие забытые второпях драгоценности и нарвалась на приключение.

Так как я уже не имел надежды на прибытие поезда, и так как виденная мною сцена принудила меня весьма плотоядно поглядывать на Нину, то мы проводили спасенную нами лишь до Невского, где было безопасно, а сами отправились искать приюта на ночь.

В первой облюбованной нами квартире мы набрали покойника. Он лежал на столе во всем параде, покрытый парчовым покровом; кругом стояли подсвечники, был аналой для чтеца; но свечи не горели, чтеца не было, и лишь трупный запах царил в комнате. Живые нашли, что совершенно лишнее им хоронить покойника, если это берет на себя комета. Покойник тоже находил, что это лишнее; он лежал в торжественном молчании и не жаловался.

Во всяком случае, соседство покойника и особенно его запах нам не очень понравились, тем более, что выбор был обширный. Мы скоро нашли пустую, очень шикарную квартиру, заперлись в ней и предались, по выражению Боккаччио, восторгам любви.

Утомленные изливаниями чувств, мы наконец заснули. И вот мне приснился сон, который я хочу рассказать тем из моих читателей, у которых хватило терпения дочитать до этого места. Предупреждаю, однако, что сон — довольно длинный и довольно чепушистый.

XXI

Снилось мне (это уж обычное начало, и почему мне им не воспользоваться?), что я стою высоко над городом — где именно, не знаю, может быть, на куполе Исаакия, — и смотрю на запад; заметьте, я знаю, что на запад. Подо мною чинные ряды крыш, за ними расстилается широкое водное пространство. Вдали видны очертания какого-то острова, должно быть, Кронштадта и двух противоположных берегов Кронштадтской губы. Зачем я смотрю туда? Таково, надо думать, повеление властителя снов Морфея. Одним словом, я смотрю, не отводя глаз.

Вдруг я ощущаю на лице дуновение резко-холодного ветра; еще минута, и это дуновение превращается в ураган, бешеный порыв которого едва не сталкивает меня с моего места. Небо делается страшно-мрачным, черно-синим.

Мне бы сойти, но нет; сонные действия никогда не отличаются логичностью, а потому я стою и даже не задаю себе вопроса; почему я не схожу?

И вот на моих глазах море начинает расти; Кронштадт и отдаленные побережья скрываются под водою, и бурные волны беспрепятственно катятся к Петербургу. Я вижу, как они приближаются громадными, во всю ширину залива, правильными валами, и стараюсь сосчитать их, желая за чем-то узнать, который из них девятый. Но движение путает счет, да и нет среди них ни одного выдающегося; вернее, все они выдающиеся и все одинаково страшны.

Мною овладевает ужас, усиливаемый тем, что я все-таки не могу тронуться с места.

Вал за валом налетает на город и, мне кажется, я слышу мягкий шум вливающейся в ряды домов водной массы.

Новый ужас присоединяется к этому: на горизонте встает туман, быстро идет к городу и густым молочно-белым облаком закутывает все. Я уж ничего не вижу, но все-таки слышу шум вливающейся воды, покрываемый время от времени отчаянным криком тысяч гортаней.

Я начинаю озлобляться. Что ж это, черт возьми? Без предупреждения, без всякой отсрочки! Это верх безобразия!

Вдруг тумак озаряется ярким светом; свет этот становится все сильнее, и наконец сквозь мглу тумана показывается громадный огненный шар, занимающий полнеба. В голове моей пробегает мысль:

— А, вот комета! Прекрасно! Теперь она все приведет к одному знаменателю.

Огненный шар делается еще больше; я различаю струи пламени на нем; эти струи касаются уже меня, лижут меня своими языками, но боли я не чувствую. Еще мгновение...

Все кругом исчезает. Мертвая тишина и непроглядная ночь. Я несусь в междупланетном пространстве и думаю:

— И что это ученые наврали? Говорят, температура междупланетного пространства около 142° Цельсия ниже нуля, а мне совсем не холодно. Когда вернусь, непременно подниму по этому поводу скандал!

Долго ли, коротко ли, но передо мною наконец вырисовывается какая-то громадная масса, и я знаю, что это Марс. Гм..! Почему Марс! Откуда я знаю это? Э, не все ли равно? Одним словом, я лечу к Марсу, и у меня является сильное опасение, что при падении с такой высоты от меня останется лишь воспоминание в виде плевка. Все, однако, обходится благополучно: вот я стою уже на почве Марса и с любопытством осматриваюсь.

Кругом могучая, тропическая растительность темно-зеленого цвета в невиданном обилии и разнообразии растительных форм. Среди чащи зелени строения причудливого вида, стоящие на высоких столбах, так что под этими строениями можно было бы ходить, если бы не мешала густая стена растений; наверху строения эти заканчиваются площадкой с перилами; ни стен, ни крыш нет.

Я стараюсь понять, для чего бы такие сооружения: не наблюдательные ли это вышки на случай нашествия неприятеля? Но как туда взбираться?

Вскоре, впрочем, мои недоумения разрешаются: на одной из площадок появляется существо, вполне похожее на человека, но без всякой одежды; оно долго с интересом

рассматривает меня, затем возвращается обратно и через минуту появляется с летательным аппаратом. Несколько взмахов крыльев, и обитатель Марса передо мною. Он, оказывается, сложен вполне по-нашему и со всеми атрибутами.

Спустившись на землю, то бишь, на Марс, туземец оставляет свой аппарат и обыкновенным способом, т. е. пешочком приближается ко мне и, первым делом, щупает мой живот. Я отталкиваю его руку, ибо боюсь щекотки, и недовольным тоном заявляю:

— Оставьте, черт возьми! Что за фамильярность с незнакомым человеком?

Марсианин удивлен.

— Но как же иначе мне приветствовать тебя?

А так это — приветствие! Ну, тогда другое дело, хотя все-таки щекотно! Но я не могу упустить случая просветить и, нисколько не удивляясь тому, что мы с марсианином говорим на одном и том же языке и притом по-русски, отвечаю:

— Мы, цивилизованные жители земли, здороваемся иначе.

С этими словами я беру правую руку марсианина и дружелюбно жму и трясу ее. Он безропотно покоряется этому эксперименту, но потом сам трясет освобожденную руку, чтобы скорее избавиться от боли моего дружеского рукопожатия, а еще потом замечает с угнетенным видом:

— Это довольно больно и притом нелогично. Ты сам говоришь: «здороваемся». Что значить здороваться?

— Осведомляться о здоровье, — отвечаю я недоумевающим тоном.

— Ну вот! А как же я осведомлюсь о твоём здоровье, если не исследую у тебя желудка?

Гм... вот где, значит, зарыта собака! Что ж, это довольно резонно!

— Итак, что вы можете сказать о моем желудке?

— Он, очевидно, нездоров: там сильное брожение.

— Я думаю, это просто от голода.

— Возможно. Но почему ты говоришь мне «вы»? Ведь я один.

Я опять соглашаюсь.

— Хорошо, я буду с вами на «ты». Но у нас на Земле, если хочешь быть с посторонним человеком на «ты», то обязательно должен совершить особую процедуру: во-первых, выпить чего-нибудь покрепче, но выпить не просто, а непременно продев руку с бокалом или рюмкой за руку другого и пролив при этом часть напитка на платье свое или чужое — это безразлично, — потом поцеловаться, а потом наиболее усердные последователи ритуала еще выругают друг друга.

Марсианин удивлен и даже озадачен. Подумав несколько секунд, он презрительно цедит сквозь зубы:

— Какие глупости!

Потом категорически заявляет:

— У вас на Земле, вероятно, нечего делать.

— Как так? — возмущаюсь я.

— Конечно! Разве занятому человеку можно думать о таких бессмысленных пустяках?

Я опять не могу ничего возразить, но, чтобы вывернуться, завожу разговор о посторонних вещах:

— Что это за постройки?

— Это наши дома, — отвечает марсианин, а затем поясняет: — мы здесь живем.

Это пояснение совсем обескураживает меня: очевидно, марсианин самого низкого мнения о моих умственных способностях. Я энергично трясую головой в утвердительном смысле, желая доказать, что я понимаю, что я очень великоленно понимаю, и стараюсь поправиться:

— Ну, вы тоже не очень умны: почему у вас нет крыш?

— Каких крыш?

— Да вот такого прикрытия сверху.

И я стараюсь жестами дать представление о крыше.

— Зачем же оно?

А я, наконец, поймал марсианина в поразительном невежестве!

— Да на случай дождя, например.

— Что значит дождь?

Это ужасно! Это верх идиотства! Не понимать, что значит дождь! Но я терпеливо объясняю:

— Дождь, это — когда идет сверху вода.

— Какая вода?

Ах, расшиби тебя комар! Как мне объяснить ему, что такое вода? Но марсианин выручает меня:

— У нас вообще ничего не идет сверху.

— На кой же ляд вы устроили такие гигантские каналы?

— Какие каналы?

— Да вот нам видны с земли эдакие полосы.

— Таково строение нашей планеты, а мы здесь не при чем.

Я начинаю подозревать, что не марсианин глуп, но в последней отчаянной попытке заявляю:

— И стен у вас нет. Вы не защищены ни от ветра, ни от холода.

— Ветер, холод? — недоумевающе повторяет марсианин. Что это такое? Мы ничего этого не знаем.

Ну, я окончательно погиб! Надо прекратить эту позорную для меня попытку научить марсианина земному опыту.

Я обращаю свое внимание на летательный аппарат.

Надо вам знать, что некогда я потратил много мозговой и мускульной энергии и даже некоторое количество денег на изобретение разных летательных машин, обнаруживших на опыте необъяснимое, но весьма прискорбное влечение к земной поверхности, Да, борьба моя с воздушным пространством носила, поистине, титанический характер!

Я думаю, никто из зрителей, присутствовавших при первом моем опыте, не забудет его.

Еще задолго до представления всем соседям было известно, что я собираюсь полететь. И лично, и заочно я выслушал много горьких для моего самолюбия сомнений, но, имея намерение поразить мир, нисколько не обескураживался этим. Наконец, аппарат был готов, место для

полета было избрано: большая прекрасная поляна за дачами. Детишек собралось видимо-невидимо, но и взрослые не обидели меня равнодушием.

Сначала все были поражены грандиозностью размеров крыльев, состоявших из двух прилаженных к центральному стержню громадных деревянных рам, на которые был натянут коленкор по 8 коп. за аршин. Мальчишки признали это за два гигантских змея, соединенных вместе, и визжали, предвкушая восторг зрелища. Однако более опытные и наблюдательные пророчили полную неудачу ввиду отсутствия хвоста.

Я твердыми шагами подошел к своему сооружению, продел руки в соответствующие петли для управления аппаратом, ноги поставил в прибор, имевший целью усиливать величину размаха крыльев, еще раз оглянул всех с гордым видом, наслаждаясь своим торжеством, взмахнул крыльями и.... и полетел. Взмах крыльев вывел аппарат из состояния равновесия, и я повалился на спину. Напрасно я трепетал и руками, и ногами: аппарат и крылом не повел, находя принятое им и мною положение самым естественными и безопасным.

А тут еще какой-то поросенок визжит:

— Я говорил, без хвоста ничего не выйдет.

А другой добавил баском:

— Да у них и бечевки нет.

Сильно смущенный, я кой-как высвободился и встал на ноги. Мне бы прекратить это удовольствие! Но моя несчастная звезда заставила меня сделать вторую попытку.

Поставив аппарат снова в вертикальное положение, я опять прилачился и взмахнул крыльями.

Сперва аппарат был как будто в нерешительности, куда лучше лететь, но после второго энергичного взмаха его сомнения исчезли, и я почувствовал, что быстро лечу вниз носом. Подвернувшийся камень сильно повредил мой нос; встать без посторонней помощи я не мог, и при моем освобождении крылья были достаточно попорчены. Затем я отнес аппарат домой, а мальчишки следом плясали дикую сарабанду.

Дальнейшие мои попытки овладеть воздушной областью делались уже ночью, в уединении, без присутствия назойливой, завистливой толпы, готовой осмеять великую смелую идею. Но ах! Они не были от этого удачнее. Напротив, последний мой опыт ознаменовался самым горестным концом.

Обдумывая причину моих неудач, я пришел к заключению, что аппарат слишком рано теряет равновесие, не давая крыльям развить достаточную подъемную силу. Поэтому я решил сделать опыт на какой-нибудь возвышенности, справедливо рассуждая, что, ринувшись с нее, я окажусь в иных условиях опыта, чем на гладкой площади; так же вполне основательно я предположил, что и результат будет иной, чем раньше.

Выбрав для опыта большую яму, из которой брали песок, с крутой стенкой вышиной около двух саженей, я установил свой прибор на самом краю и, дав ему наклон в сторону ямы, начал махать крыльями. Предприятие завершилось блистательным результатом: крылья превратились в кучу палок, обтянутых коленкором, центральный стержень сломался и одним концом чуть не проткнул мне спину, разорвав при этом куртку, а я сам... я получил другим концом по затылку, ободрал несколько лицо, вывихнула руку и скромно поплелся домой, радуясь, что ночная темнота скрыла мой подвиг и, особенно, его последствия.

Теперь вы можете понять, какой интерес возбудил во мне летательный аппарат, служивший для совсем иного назначения, чем изобретенный мною, и служивший вполне исправно и добросовестно. Я приблизился к нему с коварной целью высмотреть, в чем дело, и по возвращении на Землю (в котором я почему-то не сомневался) воспользоваться идеею марсиан. Но, как всегда бывает, я, проснувшись, нашел, что идея машины на Земле, по крайней мере, никуда не годится. А жаль! Я вполне заслужил награду за претерпленные раньше насмешки, расходы и страдания во имя высокого стремления к небу.

Впрочем, мне и не пришлось рассмотреть машину, как следует. Возле меня очутилась марсианка, прехорошень-

кая и в костюме страны, т. е. без всякого костюма, что, впрочем, делало ее, на мой взгляд, еще привлекательнее. Я немедленно принялся вежливейшим образом приветствовать ее по их обычаю. Но она почему-то отвела мою руку. Я все-таки продолжал здороваться. Тут марсианин, с любопытством наблюдавший за мною, когда я осматривал аппарат, с негодованием схватил меня за плечо...

XXII

Я открыл глаза.

Нина усердно теребила мое плечо и, заметив, что я проснулся, шутливо пролепетала:

— Что это тебе вздумалось шупать мой живот?

Я посмотрел на нее хорошенько и нашел, что она нисколько не хуже той марсианки, познакомиться с которой она помешала мне. Поэтому я простил ей этот проступок, расцеловал, как следует, и стал одеваться, рассказывая Нине для развлечения виденный сон.

Он произвел на Нину впечатление, совершенно для меня неожиданное: она вдруг пригорюнилась и, на мои вопросы о причине такого удивительного поведения, капризно-сердитым тоном пробормотала:

— А почему ты не меня во сне видел?

Я сделал большие глаза:

— Разве это так нужно?

— Конечно: я не хочу, чтобы ты видел кого-нибудь, кроме меня.

Вот он, деспотизм любви! Но все равно, скоро придется помирать, и не стоит спорить. Поэтому я заверил Нину, что в другой раз я непременно увижу одну ее во сне, и мы отправились на поиски провизии.

— Не отставать! — грозно кричу я Нине.

— Я — маленькая, — просительно пищит она.

— Ну?

Нельзя на меня орать! И не разевай ты так ужасно свою пасть!

Я сдерживаю улыбку и, молча, шагаю вперед.

На лестнице сидит громадный кот и меланхолически мурлычет.

— А я сейчас коту язык показала. Он смотрит на меня и думает: ну, но глупая ли ты девчонка?

Я все-таки ничего не говорю. Нина догоняет меня, делает из моей руки прямой угол с вершиной в локте, вкладывает туда свою ручку, прижимается ко мне и заглядывает в глаза:

— Чего ты такой бука?

Я сейчас вовсе не бука в душе, но по непонятной для меня самой причине (может быть, завидуя бессознательно ее жизнерадостности), напускаю на себя еще большую угрюмость и сквозь зубы цежу:

— Так, что-то невесело. Впрочем, и нет особых причин к веселью.

— Ах ты, ты негодный! А что я с тобою, это для тебя — не причина?

Я мычу что-то насчет чьего-то необычайного самомнения и устремляю взор в небо, хотя там ничего занимательного не видно.

Нина надувает губки и хочет вырвать свою ручку, но я не пускаю; все-таки мы идем чуть ли на аршин друг от друга.

Поиски наши на этот раз недостаточно успешны: в колбасных товара уже нет; нашлись раньше другие покупатели; в булочных хлеба тоже совсем мало, да и тот, конечно, сухарь-сухарем. Все-таки мы берем, сколько есть, а в молочной находим кусок какого-то заплесневевшего сыра. Я уверяю Нину, что плесень можно срезать, и получится прекрасный сыр; и притом, судя до плесени, он должен быть старый, выдержанный, Нина брезгливо морщит носик, но не возражает и мы овладеваем «старым, выдержанным» сыром.

Возвращаясь с добычей, мы проходим мимо мясной и обращаем внимание на выставленное в окнах мясо. Это зре-

лице подает Нине мысль показать мне свои кулинарные сведения и способности. Я с восторгом поддерживаю эту идею, предвкушая наслаждение съесть тарелку, две, даже три-четыре горячих щей, например. Однако мясо на окнах, несмотря на заманчивый вид, уже здорово попахивает. Нина приходит в уныние, но я вспоминаю, что при мясных бывают ледники, где хранится мясо,

После недолгих поисков мы находим и ледник, к счастью для нас, не запертый, а в нем целые богатства мяса и даже первосортной вырезки; так, по крайней мере, с видом знатока утверждает Нина; находим и капусту, и картофель, всякого рода зелень, даже свежие огурцы, хотя они теперь уж не очень свежие, а даже очень вялые.

Нагрузившись, как вьючные животные, мы с торжеством несем наши приобретения домой. Встречные улыбаются, глядя на нас, а некоторые осведомляются, где мы добыли столько добра.

После закуски начинается оживленная стряпня в прекрасной, снабженной всеми принадлежностями кухне. Сначала встретилось затруднение с водой, но я разрешил его, как Александр Македонский: беру ведро и отправляюсь к Неве; воду из Мойки Нина категорически отрицает:

— Разве это вода? Это какие-то помои.

Впрочем, путешествие к Неве еще лучше в смысле усиления аппетита.

Наконец, все нужное для стряпни налицо. Нина принимается за дело, а я по силе возможности мешаю ей, наивно полагая, что ужасно полезен; между тем, Нина высказывает твердую уверенность, что я гожусь только, чтобы принести дров или убрать сор

После того, как меня несколько раз постыдно изгоняли из кухни, я решил наказать Нину своим отсутствием и отправился во внутренние комнаты. Вижу шкаф с книгами; он заперт, но чувство уважения к чужой собственности за последние дни у нас совершенно атрофировалось. И как, подумаешь, скоро! Поэтому я преспокойно разбиваю стекло, вынимаю осколки, и вот я у кладезя духовной пищи.

На оттоманку возлагается подушка и мое длинное тело, и я принимаюсь за чтение, изредка строго покрикивая:

— Нина, пора бы уж обедать!

Но она даже не хочет мне отвечать. Я слышу, однако, как она гремит чем-то в столовой и успокаиваюсь, справедливо рассуждая, что она настолько же, насколько и я, заинтересована в скорейшем наступлении обеденного часа; а если что-либо не готово, то оно, значит, не готово, и ничего с этим не поделаешь.

Наконец в дверях появляется раскрасневшаяся Нина и торжественно возглашает:

— Кушать подано!

Я встаю, выхожу в столовую и издаю клик восторга: прекрасно накрытый стол, великолепная посуда, даже белоснежные салфетки, и среди всего этого миска с дымящимся супом. Я сажусь, закрываюсь салфеткой и с каким-то благоговением принимаю из рук Нины тарелку того, что она называет щами; они недосолены, вернее, совсем без соли, но этому горю еще легко помочь. Я солю, ем, опять солю, съедаю таким образом две тарелки, умоляю о третьей, но Нина отрицательно трясет головой и уходит в кухню за вторым блюдом.

И вот — о боги! — появляются великолепные бифштексы с картофелем и молодыми огурцами. Это окончательно сразило меня, и после двух основательных бифштексов я мог дойти только до оттоманки; дальше у меня не хватило энергии. О, это был Лукулловский пир!

Скоро ко мне присоединилась Нина, и мы надумали почитать; но как-то незаметно чтение перешло в сон, и мы вздремнули немножко, часок, другой, третий, четвертый.

Что за жизнь! Поел, поспал, погулял, опять поел, поспал и т. д. И никакой заботы о будущем! Все равно, не поможешь.

Далеко не всякий кот пользуется таким блаженством.

XXIII

Проснулись мы часов в 8 вечера и почувствовали страшную жажду; воды не было.

— Пойдем, поищем в мелочной кваса, — предложила Нина.

— А ведь это — мысль!

Пошли и нашли. Квас был не очень холодный, но зато позволил нам обойтись без пробочника, ибо достаточно было надрезать веревочку, как пробка летела в потолок, и из бутылки извергнулся каскад темно-желтой пены.

Утолив жажду, мы в добром расположении духа отправились прогуляться к Николаевскому вокзалу — не ради поезда из Москвы (на это у нас не было надежды), а просто захотелось потолкаться среди людей.

Пьяных, конечно, было так же много или даже больше, чем вчера, и, чем ближе к вокзалу, тем чаще встречались нетвердо держащиеся на ногах фигуры и павшие под бременем выпитой водки тела. Но теперь мне бросилась в глаза черта, которой я раньше не замечал: пьянство принимало явно буйный и разрушительный характер. Пьяный идет, толкается, говорит сальности, бранится не совсем нежными словами.

— Ндраву моему никто препятствовать не моги!

А то, проходя мимо магазина, размахнется, ддрринь — стекло вдребезги!

Нина очень трусила и все пряталась от этих героев; да не будь меня, ей бы досталось; но меня герои все-таки стеснялись.

Тут, однако, справедливость требует отметить, что только поведение пьяных выходило, так сказать, из нормы, прочий же народ вел себя, как обыкновенно, если не считать коммунистического отношения к чужой собственности; последнее, впрочем, являлось вынужденным обстоятельством; да и какой был смысл беречь и для кого оставленное хозяевами добро? Но и в этом отношении я не заметил особого излишества; даже золоторотцы, которых легко было

узнать по слишком небрежному или слишком фантастическому костюму, отличались больше насчет выпивки, чем грабежа; но многие из них, вероятно, вздыхали:

— Поди ж ты, какой случай вышел? Бери, что хочешь, а брать-то не к чему и даже так, что не хочется.

Погромы на вокзалах и случай со спасенной нами девицею являлись, в сущности, единственными замеченными нами фактами, которые можно было подвести под категорию серьезных преступлений, но и здесь читатель даже из моего слабого описания может вывести непреложное заключение, что в погромах народ действовал под влиянием аффекта, а не особой разнузданности. Прошло это настроение, и мы опять стали тихими и скромными обывателями. Несомненно, вековая привычка к известному порядку вещей, известному складу отношений давала себя чувствовать и не позволяла слишком выходить из рамок, даже при отсутствии регулирующего начала.

Бросилось мне в глаза также и то, что народ уже не выглядел таким растерянным и озабоченным, как вчера. Помирился ли он с мыслью о гибели или хотел завить горе веревочкой?

За Литейным мы встретили одного нашего сослуживца; я с ним был на приятельской ноге и вообще на «ты».

Идет он, веселый такой, тросточкой помахивает; подходит к нам, здоровается; посмотрел, что я с Ниной, повистал немного, но больше ничего не сказал.

— Сашка, ты что ж это не горюешь? — спрашиваю я.

— Чего ж горевать-то, чудака? Все равно, помирать когда-нибудь надо; днем раньше, днем позже.... э, черт ли в том! А зато я теперь вкушаю наслаждение полной материальной обеспеченностью, даже, можно сказать, роскошью.

И он повернулся перед нами вокруг своей оси, если считать ее в каблучке. Посмотрел я на него; действительно, вид ослепительный: все с иголочки, сидит на нем великолепно и материал наивысшего качества; на руках перстни драгоценные, в манишке запонки если не нового, то настоящего золота; трость с набалдашником слоновой кости,

резным, с мифологическим сюжетом весьма рискованного содержания; из жилетного кармана вынул золотые часы на толстейшей золотой цепи (не цепочке, нет!) Шик, блеск...

— Откуда все сие?

— А это я, видишь ли, устроился в одном палаццо на Фонтанке. Живу, можно сказать, первостепенным баринном в сорока комнатах, только свежего хлеба не имею да вот еще самолично хожу к Фонтанке за водой.

— Не подобает это как будто твоему теперешнему положению, — скромно заметил я.

— Ох, сам знаю. Я бы и послал за водой, да никто не идет. Но зато все прочее... одежды, понимаешь ты, бездна, и вся точно на меня шита.

— Да и, вправду, на тебя: больше-то носить некому.

— А ведь правда! Я и не сообразил; ну, тем лучше. Да вы бы зашли ко мне, посмотрели на мое житье-бытье. Я сейчас иду к себе домой.

Очень хорошо вышло у него это «к себе домой».

— Что ж, пожалуй! Только вот мы на вокзал хотели зайти.

— Бросьте: никого и ничего там нет; одни крысы бегают. А у меня сегодня будет весело: соберется кой-какой народ, хотим поразвлечься перед смертью. Пойдемте-ка! Нина Сергеевна, не стесняйтесь, пожалуйста ручку; много знакомых увидите.

Саша подхватил Нину под руку и, болтая всякий вздор, повел нас «к себе домой».

Пришли. Палаццо, действительно, поразительный: огромные комнаты, прямо залы с дорогой мебелью всяких фасонов, чудными обоями; большой зимний сад.

Когда я взглянул на себя в громадное во всю стену зеркало, то даже сконфузился: очень уж невзрачной показалась мне моя фигура среди окружавшего нас простора. Даже Саша неодобрительно мотнул головой по направлению к зеркалу и заметил:

— Вот только изводить меня, что очень уж обширно; сарай, понимаешь ты, какие-то, а не комнаты. К тому же безлюдье; кричишь иной раз, только эхо отвечает какую-

то чушь. Но вот мы дойдем сейчас до кабинета; там много уютнее.

После нескольких зал мы, наконец, добрались до этого самого кабинета; тоже большая комната, но обои и все прочее темного цвета, всюду удобные кресла, оттоманки, большой письменный стол со всеми аксессуарами. Да, здесь много удобнее!

— Электричества вам зажечь не могу, — сказал любезный Саша, — но я стащил в магазине две великолепные лампы: одну — настольную, другую — половую. Вот их мы и зажжем; в керосине-то отказу нет.

Зажгли, опустили занавесы. и в комнате стало еще уютнее.

XXIV

Понемногу стал набираться народ и мужского и женского пола. Большинство, действительно, было нам знакомо, а некоторые даже очень близко.

Саш пригласил нескольких добровольцев и отправился с ними ставить самовар, что требовало значительных хлопот и усилий, ибо воду нужно было принести из реки. А мы, оставшиеся, занимаемся беседой.

— Виделся я сегодня с одним финляндцем, — сказал Иванов, — приехал ночью из Гельсингфорса.

— Зачем это его сюда принесло?

— Видите ли, у них там была организована перевозка населения на пароходах в Стокгольм, а оттуда по железной дороге на юг Швеции. Сначала дело шло, как следует, а теперь в Стокгольме, кажется, такая же история, как и у нас.

— Так они бы на пароходах в Германию, что ли.

— В том-то и дело, что все пароходы ушли полными в Германию и Данию, и ждать их назад нельзя. А народа осталось еще много. Вот управление финляндских желез-

ных дорог и снарядило поезда: кому угодно, пусть едет в Петербург; все-таки дальше от центра удара.

— Ну, здесь тоже несладко.

— Вот, води ж ты, а он не унывает. Теперь уж, вероятно, в Колпине, а то и в Саблине.

— Неужто пешком пошел?

— Очень даже просто: взял палочку и пошел, так и попер без всяких рассуждений прямо по шпалам Николаевской дороги.

Наступила минута молчания; все как будто взвешивали, не следовало ли и им так сделать. Кто-то скептически засмеялся:

— Какой же толк-то? Все равно, до Москвы не дойдет!..

— Он и не надеется. Уйду, говорит, верст 100, пожалуй, 150; а вдруг сфера столкновения как раз до того места и не хватает.

Опять молчание, и опять тревожные сомнения, не следует ли сейчас же тронуться в путь; а с другой стороны, стоит ли тревожиться даром? Опять выручает скептик:

— Видно, что немецкая душа: всякую мелочь учитывает!..

— Нет, что уж! Мало толку! Придется погибать здесь.

Иванов также поддержал:

— Да будет ли толк и за Москвой? Не верится мне что-то. Скорее можно ожидать всемирной катастрофы.

— О, это весьма вероятно.

Вдруг одна из дам всхлипнула, за ней другая, третья. Мы бросились утешать их общими усилиями, но на разный лад.

— Что это, Вера Александровна? Как не стыдно!

— Марья Петровна, ведь вы еще сейчас только хвастались: вовсе, мол, не боюсь смерти!

— Александра Львовна, и вы туда же! Ну, это уж совсем никуда не годится. Недаром говорят, что у баб глаза — на мокром месте.

— Ах, вы, невежа! — возмутилась корректная Александра Львовна.

— Батюшки, почему так строго?

— Разве мы бабы?

— Я не вижу тут обиды, но если хотите, скажем: у «мадамов». Это нам все единственно.

Мало-помалу горе «мадамов» утихает, по крайней мере, с поверхности. Этому, в особенности, способствует Саша, появляющийся с предложением:

— Господа, не угодно ли до ужина осмотреть мои апартаменты?

Все, кроме меня, принимают предложение. Мне лень трогаться со своего удобного кресла, и я предпочитаю углубиться в чтение газеты еще от 21 июня.

В ней я нахожу несколько интереснейших фактов: не то в Тмутаракани, не то в Усть-Сысольске некий член клуба, будучи в градусе, назвал другого мерзавцем и подлецом, за что получил оплеуху, а может быть, и три: в пылу дружеских объяснений за такими пустяками не углядишь. После этого они судились у мирового, там помирились и через час после судьбища были пьяны вдребезги и опять подрались. В пользующемся всемирной известностью местечке Задери-Хвосты население ждет не дождется открытия публичных лекций с живыми картинками, а в ожидании их устраивает драки и мажет дегтем ворота у мирных обывателей. В другом, не менее известном городе местная, с позволения сказать, интеллигенция, изнывая от игры в винт, придумала новое развлечение: ездку верхом друг на друге; время от времени устраиваются бега на призы, в которых установлено оригинальное, но вполне справедливое правило, а именно: награду получает не ездок, а лошадь; первый приз был взят нотариусом.

Это все известия из таких местностей, где даже и кометы не боятся. В общем, однако, видно, что провинция очень занята «грозною посланницей небес», как назвал комету один местный, положенный по штату поэт; везде молятся больше обыкновенного, оправдывая пословицу: «гром не грянет и т. д.». Среди простонародья и даже купечества, мелкого чиновничества ходят самые дикие слухи относительно кометы и светопреставления. Многие так с легким сердцем и заявляют, что это, мол, летит на нас сам анти-

христ. Когда им указывают, что зачем же у антихриста хвост, то они без всякой запинки отвечают:

— Ну, какая беда, что хвост! Может, это — аллегория.

Нельзя сказать, однако, чтобы население так уж везде опускало руки и не пробовало принимать мер против светопреставления; так, в одном богоспасаемом углу нашего необъятного отечества бабы, по совету местной сивиллы, предприняли следующее для предотвращения всеобщей гибели: в глухую полночь отправились в лес, сделали там подобие кометы из снопа ржаной соломы, возложили его на громадный костер среди поляны, разделись донага и стали плясать вокруг костра с диким пением какой-то мистической белиберды. По ритуалу, предписанному сивиллой, это должно было совершиться в тайне; но несколько парней подглядели, и один из них, неосторожно высунувшийся, поплатился за любопытство, ибо был ввержен разяреными бабами в костер и еле удрал тоже чуть не голым, с обожженными волосами; другие благоразумно и таинственно удалились, решив не обращать на себя столь лестного внимания. Но теперь бабы в унынии:

— Пропало все колдовство из-за шалыганов!

В заключение, комете была посвящена маленькая статейка под заглавием «Вот она идет...» такого содержания:

«И даже не идет, а мчится, летит, как ураган, как пушечное ядро. Что же нам делать? Строить конусообразные башни, советуют одни, блиндированные толстой броней из стали. Гм... Какая броня, какая башня выдержит напор ядра в несколько сот верст в диаметре, летящего притом со скоростью 30 верст в секунду? Бежать, советуют другие. Но куда? И главное, зачем бежать? Стоит ли эта жизнь, полная горя, нужды, неудач, мелких и крупных притеснений, душевной черствости, жестокости нравов, бессмыслия, насилия, — стоит ли она того, чтобы так стараться об ее сохранении? Не благороднее ли остаться на месте и встретить смерть лицом к лицу, не уступив при жизни ей ни пяди? Да, надо быть мужественными и в остающиеся несколько дней жизни взять от нее все, что она может дать лучшего. А в какой необыкновенной обстановке придут

последние часы и минуты!»

Не писал ли это вчерашний восторженный господин?

Прочтя газету, я аккуратно сложил ее и сунул в карман на всякий случай. Вскоре вернулись и прочие гости с осмотра Сашиных «апартаментов». Начались разные разговоры об их великолепии и о богатстве настоящего собственника этого дворца.

Наговорились, наконец, можно сказать, по горло и стали уж поглядывать друг на друга недоумевающе: чего, мол, мы здесь сидим? Да и есть что-то захотелось: от безделья, должно быть.

Тут Саша широко открыл двери и возгласил гласом велиим:

— Которые ежели хотят кушать, пожалуйста: все на столе.

Мы с полной охотой потянулись за ним в столовую.

XXV

Нашим взорам представилось эффектное зрелище: длиннейший обеденный стол был покрыт дорогой скатертью и уставлен посредине канделябрами с зажженными свечами; такие же канделябры горели в углах столовой; каждый из них на столе окружала батарея бутылок, а вокруг батарей и в промежутках между ними находились разные яства, преимущественно консервного и копченого характера и вазы с фруктами. Ну, совершенно буфет 1 класса какого-либо первоклассного вокзала. Впечатление довершали наши фигуры пассажиров третьего класса, за европейское одеяние допущенных в первый. Не гармонировала с этим только окружающая обстановка: слишком уж она была стильна и внушительно изящна для вокзала.

Гости стали рассаживаться, шумно восхищаясь вкусом Саши и его гостеприимством, ради которого он обегал сегодня весь город и собственноручно принес три ведра воды. Саша кланялся и благодарил.

— Рад, рад стараться! Польшен до печенки!

Дамы уселись возле своих кавалеров; для некоторых из мужчин не хватило женского элемента, но они не тужили; это были испытанные в буре боевой винопийцы и чревоугодники; их сильнее привлекали бутылки белой бесцветной жидкости, стоявшие передовыми в винных батареях, чем самые хорошенькие женские личики. И когда одному из них Нина ласково предложила по знакомству сесть рядом с нею, то он — неотесанная бутылка — только буркнул:

— Очень благодарен, Нина Сергеевна, я после; они там, подлецы, коньяк высокой марки дуют и даже не позовут.

И, негодуя, устремился в дальний конец стола, где подобные ему отродья, устроившиеся в своей компании, действительно «дули» (ибо нельзя было сказать: «пили») коньяк и не обращали никакого внимания на прочих сосольников.

Впрочем, наша смешанная из того и другого пола компания, в сущности, только выиграла от этого; в том углу стола раздавались лишь какие-то односложные звуки, перешедшие впоследствии в икоту, отрыжку и другие звериные. У нас же все время шел оживленный, даже веселый разговор, сыпались шутки, остроты, иной раз, пожалуй, очень тупые, но, в чаду разговора и особого подъема духа, и такие сходили с рук без повреждения автора.

Один из гостей, молодой человек с артистическими волосами, задумал сказать спич:

— Господа, всего три дня отделяют нас от конца...

— Ы-ык! — подтвердили с другого конца стола.

— Тише вы там, бегемоты!

Ответа на оскорбление не последовало: там были слишком заняты добросовестным исполнением своих прямых обязанностей.

— Итак, господа, только три дня отделяют нас...

Но тут оратора заметили и сейчас же одернули:

— Брось, садись! Не расстраивай нас пустяками! Лучше вышей.

Оратор послушно сел и вышил.

Дамы попробовали разных, так называемых дамских вин, налегая, впрочем, больше на шампанское, и оживились до чрезмерности. Даже у моей Нины, пившей меньше других, заблестели глазки, и она изредка пощипывала меня в знак вечной и безграничной любви.

Но вот мы, наконец, насытились. Тогда Саша сейчас же вскочил и стал предлагать дамам конфеты и варенье, а нам сигары и ликеры, все — самого высокого достоинства. Еще через несколько минут он с добровольцами притащил большой самовар и кофейник и предложил желающим чаю или кофе. Угощение являлось выходящим из ряда, хотя я не променял бы на него той бурды, которую сварила мне сегодня Нина. Я сообщил ей это по секрету и получил от нее тычок в бок, очевидно, в виде награды.

Пресытившись едой и питьем, мы отправились размять ноги в соседней зале, где стоял большой рояль. Один из нас, знавший тайны музыки, подсел к нему, и сейчас же поплыли по воздуху пошловатые, но подмывающие звуки штраусовского вальса.

Саша, как хозяин, первым подлетел к своей даме, и они понеслись глиссадом по блестящему, как стекло, паркету; за ними другая пара; третья, четвертая. Потом звуки вальса перешли без перерыва в польку, во время которой мы носились по зале; как угорелые.

Полька перешла в галоп, и оживление дошло до апогея; ноги сами собой выкидывали разные канканные антраша, поднялся шум, хохот; пары сшибались, падали, опять поднимались, мчались и опять падали, дамы теряли свои туфли, и последние летали по всей зале; словом, происходило великое смятение, пока мы, наконец, не запыхались и, дыша, как убежавшиеся собаки, не уселись по разным углам отдыхать.

На минуту нас расстроил неожиданный инцидент: одна из дам внезапно зарыдала, прямо завывала; ее бросились успокаивать. Куда там! Воет да и только, и так как-то тяжело, что душа разрывается. Мы сейчас увели ее, намочили голову, расшнуровали и положили спать; она и успокоилась.

Когда мы вернулись, опять гремел галоп, пары носились по зале, и Саша пытался дирижировать. Ну, только мы не слушались: гораздо приятнее было производить кавардак. Сам дирижер ничего не имел против этого. В конце концов мы опять запыхались и опять сели отдыхать.

Настроение еще поднялось. Вообще влияние напитков, которые мы все еще продолжали принимать по малости, было уже сильно заметно: одна из дам пролила вино и меланхолично разводила его пальцем по столу, образуя самые замысловатые узоры; другая бесцеремонно икала, раскинувшись в кресле и заложив ногу на ногу так, что видно было даже колено. Кавалеры пристроились к своим дамам, щекотали их, щипали и поверяли разные двусмысленности. Один из них стал уговаривать свою даму сесть к нему на колени, убеждая ее:

— Плюнь на эти условности, Нюточка! Ведь в конце концов все трын-трава, и мы все пойдем к черту.

Нюточка жеманилась.

— Ну, сядь же! Вот они тебе подтвердят, что теперь это совершенно в порядке вещей.

Мы все хором подтверждаем, а Саша авторитетно заявляет:

— Ну, конечно! Так всегда бывает перед столкновением с кометой.

Великолепная Софья Андреевна добавила:

— Я и сама сяду.

И брякнулась на колени к Егорову так, что он — бедняга — отъехал с креслом от ей натиска, — и победоносно оглянулась, как бы заявляя:

— Видели мою неустрашимость?

Но сейчас же вскочила:

— Нет, я должна снять корсет, а то страшно неудобно.

Мы немедленно предложили всем дамам сделать то же, ибо корсеты, по нашему глубокому убеждению, выказанному с редким единодушием и категоричностью, являлись совершенно бесполезной и даже вредной вещью и, в особенности, после ужина. Дамы признали основатель-

ность наших доводов, улетучились и минут через десять явились без своей брони.

Саша сейчас же доложил:

— Как хотите, а только совсем это — глупая штука корсет. Говорят, красиво, а, по-моему, ничего не красиво. То ли дело, нормальная талия! Она гораздо лучше, красивее, чем какая-то бронированная оса.

— Нормальная! А если она кривобокая? — глубокомысленно заметил Егоров.

— Не перевирай, пожалуйста, — яростно заорал Саша. — Я оказал; нормальная; значит, настоящая, то есть, прямая, как следует, то есть.

— Ну, не всякая и прямая талия — красива.

Тут у нас завязался страшно горячий спор об условиях женской красоты. В спор вступили дамы и разные напитки, и он делался все горячее; собеседники все более не понимали друг друга и спорили, защищая одну и ту же мысль. Наконец, языки наши устали, глотки охрипли, а руки перестали подниматься; притом некоторые из спорщиков и особенно дамы занялись посторонними делами больше промеж себя. Свобода нравов царила полнейшая: Софья Андреевна старалась попасть носком ноги в подбородок Егорову, Нюточка давно уже сидела на коленях у жаждавшего этого счастья молодого человека, и оба они млели, не обращая внимания на окружающих; еще некоторые пары устроились подобным же восхитительным образом. Понятно, что спор начал слабеть. Наконец остался я один и окончил спор категоричнейшим заявлением:

— Что там ни говори, а, по моему мнению, нет ничего привлекательнее тела красиво сложенной женщины! Эта гармония форм, созданных для блаженного созерцания, эти мягкие, волнистые, ласкающие взор очертания членов, матовая белизна нежной кожи, все, все в таком теле говорит о неизмеримом блаженстве, связанном с возможностью обладания таким перлом создания.

А, каково?

Пока я разглагольствовал таким образом, дойдя в пафосе до богатейших рифм (обладания — создания), одна из

наших дам, высокая, пышная блондинка, обнаружившая еще во время канкана особенное оживление и неподражаемую смелость, нервно рассмеялась и шепнула что-то на ухо своему обожателю; тот посмотрел на меня, улыбнулся и сказал;

— Ну что ж, действуй!

Они удалились, а мы послали им вслед несколько шуточек безнравственного свойства.

Это удаление расстроило, однако, нашу дружескую беседу, и некоторые стали поглядывать на часы и заявлять, что им хочется спать. Было уже около трех часов ночи.

Но мы, и я, в особенности, не ожидали, как эффектно закончится этот вечер или, правильнее, ночь.

Дверь из столовой отворилась, и спутник удалившейся блондинки провозгласил:

— Кто хочет видеть живую картину: «Венера перед Парисом»? Вход без билетов.

Мы гурьбой бросились в столовую, предвкушая новое удовольствие. Но то, что мы увидели, превзошло всякие ожидания.

На столе среди пустых бутылок и разных объедков красовалась живая статуя, та самая блондинка, которая только что ушла; но теперь она была в костюме Евы до грехопадения.

Мы остолбенели. Даже суровые винопийцы забыли на мгновение о коньяке высокой марки и ошалевшими глазами глядели на живую Венеру. А она стояла перед нами прекрасная, чистая, как греза поэта, сверкающая белизной.

Я даже закрыл на мгновение глаза, но сейчас же, конечно, опять открыл их. Она была...

Некто из породы людей, называемых приятелями (вероятно, потому, что они считают приятным для себя долгом досаждать вам по мере сил и способностей), смотрит через мое плечо и подсказывает:

— Высокая, статная, грудь колесом...

Я делаю нетерпеливое движение плечом и говорю:

— Ну да, высокая, статная, достаточно полная, чтобы не было угловатостей и не настолько полная, чтобы казаться раздобревшей. Нежная, атласистая кожа, трепещущее упругое тело, почти молочно-белое, с тем особым оттенком яркости, который часто бывает у блондинок. Грудь...

— Угу! — мычит приятель.

— Ах, эта великолепная грудь, при воспоминании о которой у меня доныне дрожит сердце! Шедшая покато от шеи и нежной волнистой линией поднимающаяся и за упругими высокими полушариями спускающаяся по бюсту к талии. А эта талия, бедра, такую чистой линией переходящая...

— Ну, брат, ты ударился в физическую географию! Лучше я удалюсь.

Приятель ошеломлен.

И исчезает. Я смотрю ему вслед, а сердце продолжает дрожать.

Одним словом, все в этой живой статуе было безукоризненно: нога имела такую идеально-чистую форму, какой мне еще не приходилось видеть: небольшая, с розовыми ноготками и высоким подъемом ступня переходила в тонкую щиколотку, а затем начинался изящный вырез округленной стройной голени, настолько стройной, что она мне напомнила наголенники у средневековых рыцарей. Даже напряжение ножных мускулов не портило формы ноги.

Я смотрел на нее и удивлялся, как это я раньше не заметил красоты стана, бедер, стройности фигуры. Лицо у нее, правда, не отличалось классической красотой, но было, во всяком случае, сносное, удовлетворительное лицо; да и не в лице, по моему, главная сила. Впрочем, может быть, она и не отличалась такой красотой тела, какая представилась мне под влиянием неожиданности и бутылки рейнвейна.

Кругом вдруг заплодировали, зашумели и заорали «ура». А она смотрела на нас и наслаждалась нашим восхищением, принимая его, как должную дань.

— Ну что ж, я вам нравлюсь? — спросила она меня, очевидно, желая знать, соответствует ли она тому идеалу,

который я так горячо расписывал минут десять тому назад.

— Царица очей моих, — начал я убежденным тоном, — я никогда не надеялся видеть такие идеальные члены, такое чудное тело. Не говоря о живых женщинах, я не видал ни одной статуи, ни одной картины, ни одного, следовательно, создания гения, которое бы могло в моих глазах сравниться с вами красотой форм.

Ну, это я, кажется, соврал в пылу восторга; но она поверила и задумчиво пробормотала:

— Неужели я так красива?

— И вы еще сомневаетесь? Взгляните в зеркало и судите сами!... Только напрасно все это: ну, вот описал я вас самым старательным образом, не пожалел ни слов, ни восторгов, ни даже восклицательных знаков и многоточий. Но как бедны кажутся слова в сравнении с вами и как мало они определяют или даже совсем ничего не определяют! Что значит: «идеальные члены», «чудное тело», «изящный вырез голени»? Еще настроение мое кто-либо, может быть, поймет, но вашу наружность всякий представит себе по-своему...

Тут случилась новая неожиданность: Нина, очевидно, совсем не поняла моего настроения, ибо внезапно ударила меня и с плачем убежала из комнаты. Я сначала изумился, но тотчас же сообразил и бросился за ней, забыв даже попрощаться; была ли, впрочем, такая уж крайняя необходимость в этом?

XXVI

Нина выбежала на улицу и, громко плача, побежала вдоль Фонтанки. Я догнал ее и стал успокаивать, но она все бежала и плакала. Наконец, когда я рассердился и сказал, что подобное поведение глупо до бесконечности, Нина вдруг озлилась и выпалила:

— Подлец, подлец, подлец!

В каждое слово она вкладывала всю душу и даже скрежетала немножко зубами, стараясь, чтобы оно звучало как можно резче и язвительнее.

Проходивший мимо малый лет пятнадцати, остановился и наслаждался этой сценой, ковыряя с остервенением в носу.

Конечно, все эти обстоятельства не могли придать мне духа миролюбия.

— Ну, если так, черт с тобой!

С этими словами я повернулся и пошел назад.

Пройдя несколько саженьей, я услышал поспешные шаги и рядом со мной появилась Нина, шипевшая:

— А, ты бежишь от, меня, летишь к этой подлой твари! Как же, она разделась при вас, знает вашу мерзкую натуру, а вы сейчас и прилипли: чудное тело, чудное тело! Ах, я' бы тебя сейчас на клочки разорвала, истерла бы в порошок!

Она подняла руки, и пальцы их задвигались, как лапы у паука. Я еще сдерживался, но предел моему, в сущности, не очень большому терпению был близок, так как и я закричал, придавая своему голосу самые грозные ноты:

— Уйди лучше, а то я не отвечаю за себя!

— А, ты еще угрожаешь мне? О, подлец! Вот же тебе!

И она со всей злобой плюнула в меня.

Это переполнило чашу: я стиснул зубы и ударил ее кулаком так, что она пошатнулась, затем повернулся и хотел уйти. Но вопль Нины заставил меня оглянуться.

— Боже, он меня ударил! Стоить ли жить после этого?

Она подбежала к решетке набережной и закинула на нее ногу, стараясь перевалиться в воду.

Мой гнев мгновенно утих; я бросился к Нине и оттащил ее от решетки.

— Ловко! — завопил зритель в восторге.

Я зыкнул на него так внушительно, что он предпочел отступить на несколько десятков шагов, затем взял Нину за руку и повел ее подальше от реки, приводя ей разные резоны. Но она все продолжала рыдать и повторяла, что ей не стоит жить, что напрасно я удержал ее, что она хо-

чет меня освободить, чтобы я мог идти к «той».

Я все-таки продолжал уговаривать и насилу мог успокоить ее соображением, что все видели, как мы ушли, вернее, убежали вместе, и если она причинит себе теперь смерть, то меня могут заподозрить, что я ее сам утопил. При этом я торжественно обещал ей, что завтра не буду препятствовать ее намерениям, если она оставит соответствующее письмо.

— Да на что тебе это? — вдруг вскричала Нина. — Все равно, скоро комета.

— Да, хорошо, если комета, — возразил я с серьезным видом, — а если придет поезд, и мы спасемся?

Этот довод показался Нине достаточно убедительным. А когда я, немного спустя, воспользовался безлюдьем (малый, наблюдавший за нами, исчез уже из виду) и начал мириться, то Нина, не возвращая еще мне поцелуев, все-таки стала посматривать на меня дружелюбнее. А еще через полчаса между нами произошел следующий разговор:

— Все-таки ты меня немножко любишь?

Это спрашивает Нина, заглядывая мне в глаза.

— Конечно, дорогая моя. Иначе почему бы я с тобой возился?

— А зачем же ты так восторгался «той»?

— Это так, вообще. Ведь ты сложена не хуже ее. Да притом, я не вижу в этом ничего обидного для тебя. Я смотрел и восхищался ею, ну, как бы красивой статуей, что ли. Ведь не станешь же ты ревновать меня к статуе?

— Стану, все равно стану, если ты будешь глядеть на нее такими глазами. Я хочу, чтобы ты смотрел только на меня.

— Ну, это, голубка, бессмысленно.

— Но ведь я тебя так люблю.

— Вот уж этого я не понимаю. Какая это любовь? Разве любимого человека так оскорбляют, как ты меня?

Нина нашла, вероятно, что тут, в самом деле, нечисто, и не возражала, а минуты через две заявила с улыбкой:

— Мне самой теперь стыдно того, что я говорила и делала.

— Я думаю! Хорошо еще, что нас видел только какой-то мальчишка.

— Ах, ты все беспокоишься о том, что скажут другие! А мне было не до того.

— Ну, это еще пустяки. Но вообрази, что такая сцена произошла при нормальных обстоятельствах: ведь нас бы, наверное, потащили в участок. Что ж тут особенно лестного?

Нина согласилась, что тут не было ничего лестного. Далее начались обычные между примирившимися сторонами излияния. Мы и гуляли, и присаживались, и опять гуляли этак часов до 7 утра, и, конечно, страшно устали; надо было отдохнуть.

Зашли мы было в один красивый подъезд и вдруг отпрянули с ужасом.

В пролете лестницы висел человек, захлестнувший веревку за перила и предпочтивший таким образом решить вопрос жизни и смерти по своему усмотрению и в более удобное для себя время.

Мы убежали и долго еще ходили, пока не выветрилось тяжелое впечатление от этого багрового лица с вытаращенными глазами и высунутым языком.

Наконец усталость взяла верх. Мы нашли на Гагаринской набережной очень удобную квартиру со свободным от постоя подъездом, заперлись, чтобы никто не помешал нам спать, но, прежде чем лечь, принялись, по желанию Нины, разыскивать чистое белье. Этого добра нашлось вдоволь. Мы и сами оделись во все чистое и постели застлали чистым бельем. И как это было приятно после недельного пребывания в одном и том же!

— Итак, мы с тобою предстанем пред лицом кометы в чистом белье, — шутил я. — Не прикажешь ли надеть фрак?

Нина улыбалась и сказала, что прикажет.

Мы спустили тяжелые занавесы и среди полного мрака и тишины предались отдохновению после столь бурно проведенной ночи.

XXVII

Устали мы, должно быть, страшно, или такова ж была наша судьба (читатель сейчас поймет, почему я говорю это), но, когда я проснулся и, отодвинув занавесы, посмотрел на часы, то было уже 9 часов вечера, а, может быть, и следующего утра; но, пораздумав немного, я решил, что едва ли бы мог проспать сутки; да и светлее было бы утром.

Из окна открывался прекрасный вид на Неву и на Выборгскую сторону. Хорошо была видна часть набережной у госпиталя; но это место, прежде такое бойкое, такое людное, теперь было мертво, мертво. И все имело такой грустный вид, что мне оставалось только вернуться в постель.

Я полежал еще немного, но желудок подталкивал меня в бок и все бурчал:

— Что это за порядки! Я уже часов двадцать сижу без работы. Где распорядитель? Я, наконец, буду жаловаться.

Ну, мне надоело это ворчание! Я встал, оделся и, не будя Нину, пошел раздобыть чего-нибудь.

Выйдя на улицу, я заметил невдалеке на стене дома объявление. Сначала я подумал, что это старое, от 22 июня, но потом усомнился: очень уж оно выглядело чистеньким. А усомнившись, заинтересовался: кому это пришло в голову забавляться печатанием и расклейкой объявлений? Похожу и читаю:

«Сегодня, 27 июля, все оставшиеся в Петербурге приглашаются на Николаевский в Варшавский вокзалы, где их будут ждать поезда для отъезда на юг в места, находящиеся вне предполагаемой сферы столкновения земли с кометой...»

Дальше было еще что-то, но я уж не читал, а стремглав полетел к Ниве, разбудил ее и прерывающимся от волнения и одышки голосом сообщил ей узнанную новость. Куда у нее и сон пропал?

Она живо вскочила и стала одеваться. Я помогал ей, как умел, и следствием моей помощи было то, что юбка была надета задом наперед, крючки лифа вдеты не в свои

петли, и то, конечно, не все; башмаки тоже держались лишь на двух верхних пуговицах. Но зато она была готова в пять минут, и мы тотчас же помчались.

Бежали мы сильно, с ожесточением и, выбежав на Литейный, уже должны были высунуть языки. Ах, если бы извозчик или хотя бы конка! Но разве может быть что-либо путное перед столкновением миров? И вот мы должны были идти шагом, в то время как сердце готово было выпрыгнуть из груди. Время от времени мы припускали и рысью, но, конечно, ненадолго.

На Невском было совсем безлюдно, хотя вчера вечером народ просто кишел. Мы заметили только 3-4 человек, бегущих по направлению к вокзалу; один из них крикнул нам: — Спешите! Сам государь приехал за нами.

И припустил сильнее, услышав паровозный свисток. Мы тоже помчались; я схватил Нину за руку и тащил ее на буксире.

Бежали мы так усердно, что, приблизившись к вокзалу, дышали, как запаленные лошади, т. е. уже не дышали, а больше притворялись. Какой-то толстяк остался далеко позади. Мне жалко было видеть, как он старался шире расставлять ноги, действуя всем корпусом; шляпа с него слетела, пот лил градом, волосы прилипли ко лбу, и вся фигура выражала полное изнеможение. Но что я мог для него сделать? Тащить его на буксире? Но это едва ли помогло бы, да я и сам уж изнемогал. Конечно, только страх за жизнь и ожившая надежда на ее спасение могли придать нашим ногам столько силы и быстроты, а легким такой большой объем и вообще выносливость.

Но вот, слава Богу, и вокзал. Первые бегущие скрываются в воротах прибытия. Мы за ними, пробегаем всю платформу, спрыгиваем с нее и бежим дальше. Вот место взрыва паровоза и обломки, загромождающие путь. Трупы, однако, убраны.

Вдруг бегущие впереди останавливаются и с тоской глядят в даль. Кто-то пробует крикнуть, но запыхавшаяся грудь может издать только что-то, подобное воплю молоденького петушка. Да будь у него голос даже протодьякона, все и

он ничего не помог бы: вдали, вдали, уже за Американским мостом, мелькнул только хвост удаляющегося поезда, но через несколько секунд исчезает и он.

Но нам все еще не верится, что исчезла последняя надежда на спасение. Мы все стоим и упорно глядим в ту же сторону, как бы ожидая, что вот-вот на горизонте покажется черное чудовище, послышится приветственный свисток, и к нам подлетит хоть маленький поезд, хоть один вагон, хоть один паровоз.

Но ничего не видно, глаза устают, и надежда меркнет в наших душах.

Вдруг один из товарищей по несчастью, тот самый, который крикнул нам, что приехал сам государь, начинает угощать свою голову кулаками:

— Вот тебе! Вот тебе за жадность! Господи!

В остервенении он рвет на себе пиджак; из кармана вылетает толстый бумажник. Это более раздражает несчастного:

— А, это вы, подлые! Все вы! Вот же вам!

Он разрывает бумажник, выхватывает оттуда пачки сто-рублевых ассигнаций и принимается мять их, рвать, давить каблуком; потом он выхватывает из другого кармана пук процентных бумаг, рвет и их на мелкие клочки, и все время при этом плачет навзрыд и далее как-то рычит.

Мы стоим, глядим на все это и ничего не говорим, ничего не делаем, хотя перед нами уничтожается целое состояние. Впрочем, к чему оно теперь нам или кому-либо в Петербурге? Пусть рвет, пусть натешит свою душеньку в последний раз!

Разорвав бумаги и разметав даже их клочки, он грозит кому-то кулаками, сыплет ругательствами, затем кидается ничком и бьется головою оземь. Кто-то пробует утешить его:

— Ну, что ж делать! Вместе бежали, да не добежали.

Рыдавший приподнялся и зарычал:

— Уйди ты, сделай милость! У, дьявол!

И он помахал кулаком вслед ушедшему поезду.

— Чего ж ты ругаешь-то? — флегматично спросил утешитель.

— Как него? Да пойми ты, дурья твои голова, что я уж был на поезде.

— Ай, ай! Чего ж ты слез?

— Вот за этими дьяволами.

И он снова набросился на деньги. Но это был последний взрыв ярости; после него бедняга утих, осовел и как-то машинально, покорно стал отвечать на вопросы.

Оказалось, что поездов не было потому, что, как мы и предполагали, машинисты сначала отказались ехать в Петербург. Но государь, узнав об этом, сейчас же приказал нарядить возможно больше поездов, чтобы с одной стороны пристыдить трусов, а с другой — наблюсти за исполнением своего приказа. Сам отправился на своем поезде сзади. В Петербург поезда пришли 27 июня около 9 часов утра, и сейчас же была разслана полиция и поездная прислуга для расклейки объявлений и вообще для оповещения жителей Петербурга. Рассказчик узнал об этом лишь вечером и сейчас же отправился на вокзал, но, сидя уже в вагоне, вспомнил, что оставил дома деньги. Заручившись, по его словам, обещанием кондуктора, что еще подождут четверть часика, он по-бежал домой.

— А тебе куда домой-то бежать?

— Да на Казанскую.

Спрашивавший даже засвистал.

— Так это ты в четверть часа располагал пробежать взад-назад? Это и лихачу, пожалуй, не сделать.

— Да я удумал, еще подождут.

— Откуда же у вас такие деньги взялись? — спросил другой, видимо, любящий проникать в глубину вещей.

— Артельшики мы, при банке состоим.

— Угу! — пробурчал любопытный.

— Из Москвы, сказывают, бежит народ, страсть как! Совсем пусто стало.

— Будет пусто, коли можно уйти. А нам некуда.

— Теперь пропадать будем.

И говоривший с мрачным видом уставился в свои сапоги, как будто видел их в первый раз.

— А вы царя видели? — полюбопытствовал еще один.

— Да как же: вот как вас вижу. Вышел он, заступник наш, из вагона, стоит эдакий печальный, печальный. Приказал, чтобы всех на царский поезд пущали. Народа там набралось! Страсть! И как завидят его, сейчас «ура» кричат!

— Ах, как же это ты, братец мой?

XXVIII

На меня это происшествие произвело самое тягостное впечатление. Все эти дни после взрыва паровоза я чувствовал странное равнодушие к вопросу о спасении. Объяснить это можно было, скорее всего, покорностью судьбе: коли нельзя спастись, так что ж делать? Не браниться же, как этот артельщик!

Но вот блеснул луч надежды, и во мне пробудилась неукротимая жажда жизни, такая жажда, что я готов был повеситься или утопиться, лишь бы не испытывать этой жажды, а, главное, горчайшего сознания невозможности ее удовлетворения.

Мы с Ниной отделились от группы, продолжавшей оживленно беседовать о колоссальной глупости жадного артельщика, и пошли себе без всякой определенной цели прямо по рельсам к Обводному каналу.

Все деревянные строения по обе стороны пути уже выгорели, но огонь перекинуло за Обводный канал, и там пожар еще продолжался.

У моста на будке было приклеено объявление, то самое, которое я час тому не дочитал. А, может быть, там что-нибудь интересное! Делать нечего, дочитаю уж. Но теперь я уж медленно, даже слишком медленно прочел:

— «Сегодня, 27 июня...». мм... мм... «на юг»... мм... «земли с кометой». До сих пор я уж читал, и очень скверно, что читал. Теперь дальше: «Все громоздкие и вообще

большого объема вещи не будут допускаться в вагоны. Последний поезд отойдет: от Варшавского вокзала в 6 часов вечера, от Николаевского в 10 часов вечера. Поезда С.-Петербурго-Варшавской дороги пойдут до Варшавы, но в Вильне желающие могут пересестъ в поезда, идущие в Киев и Одессу.

Проезд бесплатный. Провизией необходимо запастись в Петербурге, ибо станционные буфеты не действуют».

Из всего прочтенного мне больше всего понравилось сведение, что варшавские поезда ушли раньше московских. Значит, туда идти нечего. Большое для нас облегчение! Главное, то приятно, что нет более никакой надежды, и не будет, следовательно, разочарования.

Еще большее облегчение почувствовал я, когда, подняв глаза, увидел вдруг яркую хвостатую звезду, ясно выделяющуюся даже на светлом небе белой петербургской ночи. Я со злости послал ей воздушный поцелуй.

— А вот, наконец, ты здесь, голубушка! Добро пожаловать! Скорей бы кончалась эта канитель.

Я стиснул зубы и пошел дальше. Но Нина твердо решила немножко поплакать и для этого присела на травке. Ну что ж, пусть поплачет!

Я посидел возле нее, поковырял в земле, стал рассматривать какую-то букашку и сделал ей милостивый выговор, когда она захотела забраться ко мне за рукав. Мысль, блуждая, забралась на мою родину, к жене, к Мане. Вспомнились мне мои старики-родители, с таким нетерпением ожидающие теперь меня. Вспомнилось мне, как в последнее свидание отец при прощании упал головой мне на плечо и беззвучно зарыдал.

Дорогие мои! Вы теперь, небось, только и выглядываете! Как только проедет извозчик, стукнет калитка: не Коля ли? Напрасно! Ах, напрасно! Ваш сын попал в капкан, и не видать ему больше ни ваших, так дорогих ему лиц, ни вашего уютного домика, ничего, ничего, что так любо было его сердцу! Не думали вы, что переживете его, но так случилось.

Что это Нина так упорно льет «токи слезны»?

Я нашел нужным приостановить их и категорически высказался:

— Ну, будет! Размокнешь, пожалуй! Пойдем лучше дальше.

Мы пошли дальше, хотя Нина все-таки втихомолку хныкала и поминутно сморкалась; нос у нее распух, покраснел и стал такой смешной.

Увидев, что направо отделяется путь, я решил, что это, должно быть, ветвь к порту, сообщил об этом Нине, и нам захотелось пройти в порт, последний раз взглянуть на море, т. е. на то, что легкомысленные петербуржцы называют морем, и потом, хотя оно, надо думать, далеко не так красиво, как Неаполь.... потом... все-таки умереть.

Вот мы и отправились путешествовать; прошли Волково кладбище, деревню Волкову. Вот железнодорожный мост над тем путем, которым мы идем.

Пройдя под этим мостом, я увидел влево от пути какие-то строения, огражденные довольно высоким забором. В левом углу из-за высокого деревянного здания выдавалось какое-то полушарие.

Батюшки, что это такое? Полушарие двигается, выставляясь то больше, то меньше! Да это — воздушный шар!

Вдруг внезапная мысль осветила, буквально осветила мой мозг. Да ведь это — спасение или хоть возможность его! Кровь прихлынула к сердцу, и я даже зашатался.

Откуда ветер? Нетерпеливо поворачиваюсь во все стороны, чтобы узнать его направление. Но здесь, в этой железнодорожной траншее, ничего не узнаешь.

Взбираюсь на бруствер и здесь ощущаю ветер и даже сильный ветер. Но откуда он? От какой страны света? Где солнце? Ах, черт возьми, где это солнце, которого никогда не бывает, если его нужно?

Солнца нет, но, судя по окраске неба, надо полагать, что оно спряталось вон за ту тучу. Самое подходящее место для скверного петербургского солнца! Там, значит, запад, вернее, северо-запад, даже, пожалуй, вернее всего, что север. И ветер оттуда! Да это — восторг!

Я хватаю одной рукой руку Нины, вылезшей за мной на насыпь, но недоумевающей, что со мной делается, другую руку протягиваю к шару и мелодраматически вопию:

— Там спасение!

Она все-таки не понимает, но какое мне до этого дело? Я тащу ее к воротам, на которых вывеска: «Учебный воздухоплавательный парк»; они, к счастью, не заперты, и мы летим в ближайший левый угол двора, огибаем деревянный сарай, и вот мы у шара, привязанного толстыми веревками. Милый, какой он пухленький, полненький!

Все, очевидно, готово к полету; в корзине сложен разный багаж, но никого из людей нет. Это нас, однако, несколько не смущает.

Я перебрасываю Нину в корзину, лезу туда и сам, нахожу топор и начинаю обрубать веревки. Происходит маленькое потрясенье, нас чуть не выкидывает, но последняя веревка вовремя обрублена, и шар быстро и плавно поднимается вверх, а потом берет направление на юг.

На юг, на юг, теперь ставший для меня вдвойне милым!

Из одного дома выскочили офицер и солдат и остановились среди двора. Я не вижу выражения их лиц, но живо воображаю себе, какое ужасное отчаяние написано на них. Может быть, взять их? Авань, места хватит. А вдруг они выставят нас, непрошенных гостей? Или шар не поднимет четверых? Но можно выбросить балласт.

Нина умоляет:

— Возьмем их!

Благородные побуждения одерживают верх, но, как всегда, их одних мало, даже слишком мало: пока я отыскивал веревку от клапана для выпуска газа, пока убедился, что это именно та самая веревка, из наших глаз скрылся не только парк, но и Петербург, который теперь в сумраке ночи представлялся бесформенной массой.

XXIX

Мы летим на значительной высоте. Я было высунулся посмотреть, что внизу, но сейчас же спрятался назад; голова закружилась, и мне показалось, что корзина сейчас оторвется, и мы полетим вниз. Нина прижалась на дне корзины, как испуганный мышонок.

Мы летим так час, другой; понемногу привыкаем к положению и начинаем устраиваться поудобнее. Находим теплые одеяла, которые нам очень кстати, ибо мы порядком продрогли; находим водку, хлеб и разные консервы, преимущественно сардины, и это поднимает наш дух.

Наконец показывается солнце, и к нам возвращается прежняя храбрость и веселость.

Я опять высовываюсь из корзины и замечаю, что мы летим параллельно железной дороге в два пути; надо полагать, что это Николаевская дорога. Ветер, видимо, усилился, ибо местность под нами убегает гораздо быстрее, чем раньше.

Мы садимся завтракать и очень даже весело завтракаем. Потом я завожу часы и узнаю, что уже около 4 часов утра по петербургскому времени.

Теперь мы освоились с шаром, и он нам очень нравится; тесновато немного в корзине, но в гробу много теснее. А вид отсюда! Это нечто феерическое!

Я не умею определить высоты, но мне кажется, что до земли будет с полверсты.

Вскоре, часов в 6 утра, мы обгоняем поезда, вышедшие из Петербурга. Поезд за поездом шли они по одному с нами направлению. Мы насчитали из свыше пятидесяти.

Нас скоро заметили, махали нам платками, приглашали спуститься. Мы также махали, чем попало, но спускаться не хотели, ибо наш шар летел туда же, но летел гораздо быстрее. Притом я сильно опасался, что меня не поглядят по головке за мой поступок с казенным имуществом.

Да, это Николаевская дорога! Скоро мы обогнали и царский поезд, который легко было отличить по красивой

окраске. Значительно впереди его шел еще один небольшой поезд.

На станциях, мимо которых мы пролетали, совсем не было видно людей; очевидно, все уехали с прежними поездами. Я, как железнодорожник, удивлялся сначала, как это нет никого, даже стрелочников и сигналистов; поезда не обращали никакого внимания на семафоры, которые в ужасе от происходящего беспорядка давали самые противоречивые указания. Пораздумав, однако, я понял, что теперь в семафорах не было настоятельной надобности: все поезда шли в одну сторону, нужные пути были открыты, нужные стрелки были на замке, и сверх того поезд, шедший впереди царского, подходя к станции, всегда замедлял ход до минимума, проходил мимо платформы совсем медленно и, лишь выбравшись за выходную стрелку, опять припускал во все лопатки, чтобы не задерживать следующих за ним поездов.

Скоро все они скрылись из виду, но часа через три или четыре мы опять увидели несколько поездов, назначенных, должно быть, для населения промежуточных станций Николаевской дороги. И здесь нам махали, и мы махали, но с прежним результатом.

Потом направление ветра переменилось; дорога ушла влево, а мы вправо. Так мне и не пришлось увидеть Москву *à vol d'oiseau*, чего мне ужасно хотелось. Я уже заранее наслаждался мыслью, как я буду показывать Нине сверху все московские достопримечательности, но... ветер подгадил; он мог нам все сделать, а мы ему — ничего. Но я утешил Нину обещанием, что при следующем столкновении мы возьмем управляемый шар и тогда покажем ветру нос.

Так мы себе и летели. Я никогда не видел мест, над которыми мы пролетали, и особенно с высоты птичьего полета, а потому описывать их не буду; да и не до того нам было. Могу только сказать, что во всех городах, через которые нам пришлось лететь, нас горячо приветствовали, а в одном месте даже выстрелили из ружья, но, к счастью, не попали.

Мы устали, наконец, от перенесенных передрыг, и я, видя, что шар летит хорошо и, во всяком случае, не на север, а скорее прямо на юг, предложил Нине немного соснуть, что она исполнила немедленно и с трогательной покорностью. Сам я хотел не спать, но, хотя дух был бодр, плоть оказалась немощной, и я, поклевав для приличия носом, приткнулся к Нине и на время забыл о том, где мы находимся, и вообще обо всем.

Проснулся я уж к вечеру. Это была третья ночь, которую мы собирались превратить в день, но этой ночи подобное преимущество вполне подбало.

Солнце склонялось к западу и насмешливо поглядывало на нас: «Как-то, мол, вы перенесете эту ночку? Мне-то оно не в диковинку: в мои объятия ежедневно падает несколько штук комет и всякой такой падали. Потому я — привычно. А вот каково вам? Небось, небо с овчинку покажется».

Издавательство солнца привело меня даже в негодование: такое большое и такое глупое! Если бы с ним случилась подобная неприятность, я бы над ним не смеялся. Я повернулся к солнцу спиной и принялся рассматривать окрестности.

Местность, конечно, незнакомая. Если я и был когда-либо здесь, то понизу, а не поверху, и признать ничего не могу. А шар все лупит вперед и все, насколько можно судить, прямо к югу. Ах ты, оказия какая! Не пора ли нам спуститься?

Бужу Нину и сообщаю ей это предположение. Она сначала потягивается, зеваает, трет пальчиками глаза и наконец чуть не через полчаса отвечает:

— И зачем ты меня разбудил? А мне такой хороший сон снился: будто мы опять в Токсове...

— Ну, матушка, Токсово сегодня ночью ау! Только его и видели! А ты вот что скажи мне: спускаться нам или нет?

— Куда спускаться?

— Да с шаром на землю.

— А как сам знаешь: я тут ничего не понимаю.

— Как же это? Я ведь не могу на свою ответственность.

— А ты без ответственности. К чему она?

А ведь верно! К черту ответственность, и будем спускаться!

Но тут оказалась штука похуже ответственности: веревка от клапана зацепилась, что ли, от моего неосторожного с нею обращения раньше, и клапан не открывается. Подергал я, подергал да и плюнул. Положимся на милость Провидения и будем лететь, пока шару не надоест. Это, впрочем, не должно было замедлить, ибо мы находились уже гораздо ближе к земле, чем утром.

— Но так без дела сидеть скучно; будем развлекаться!

Сначала мы занялись бросанием вниз пустых коробок от консервов (уничтожив предварительно их содержимое) и разных других ненужных нам предметов. Это нам очень понравилось, но, к сожалению, запас метательных снарядов скоро иссяк. Тогда Нина делает мне из полотенца чалму и находит, что она мне идет. Я отвечаю ей, что у меня вообще склонности магометанина, и получаю за это щелчок в лоб, а затем, конечно, поцелуй.

Потом мы некоторое время играем, сидя, в жмурки, и я отчаянно мошенничаю. Когда жмурки надоедают нам, я заставляю Нину угадывать, какой мотив я выстукиваю пальцами на ящике; она несколько раз угадывает; потом очередь за мною, но я что-то туго соображаю, или Нина плохо выстукивает. Наконец и это нам надоедает, и мы хотим отдохнуть от развлечений.

В это время меня вдруг поражает мысль, почему не темнеет. Смотрю на часы: уже после полуночи по петербургскому времени.

Меня вдруг охватывает нервная дрожь. Итак, представление близко! Что-то будет, что-то будет? Мне показалось, что везде царит торжественная тишина, точно вся природа замерла в ожидании сверхъестественной катастрофы.

Вдруг Нина, которая только что встала, обращается ко мне и сдавленным от ужаса голосом лепечет:

— Коля, посмотри! Страсть какая!

Я поднялся и взглянул, куда она мне показала.

Прямо перед нами на небе, очевидно, на северной стороне его распласталась толстейшая огненная метла с ярким раскаленным шаром в рукоятке. Это чудовище давало света столько, что все было видно, как днем. Куда там полнолуние!

Дрожь моя усиливается, и я чувствую ясно, что это не страх, по крайней мере, не один страх; преобладающую роль играет в этой дрожи особое жадное любопытство. Странно сказать, но я чувствую непреодолимое желание скорее видеть эту борьбу миров; я уже забыл или почти забыл об опасности, угрожающей и моей, и другим жизням, и всем существом моим стремлюсь к ожидаемому необыкновенному зрелищу. Ах, скорее бы!

Нина не разделяет, однако, моего любопытства. Она спряталась в угол корзины и почти не шевелится от ужаса. Я увещаю ее, что это никакой пользы не принесет, приглашаю полюбоваться единственным в своем роде, сверхъестественным, можно сказать, спектаклем, который природа дает, по своему обыкновению, совершенно бесплатно (не всем, впрочем: некоторые заплатят очень дорогой, по их мнению, ценой); Нина не двигается и только повторяет:

— Нет, нет, я боюсь смотреть. Иди лучше, приласкай меня, и умрем вместе.

— Да я еще вовсе не собираюсь умирать. И откуда у тебя такие дикие мысли? Иди лучше сюда.

Но она все упорствовала, и мне пришлось сесть возле нее и утешать. Но как тут утешить? Она боялась смерти, а я не мог дать ей да и сам не питал твердой уверенности, что мы останемся живы. Ну, я все-таки немного утешил ее, сказав, что если мы и умрем, то в объятьях друг у друга, и тогда наши души вознесутся вместе; весьма возможно, что мы вместе переселимся в тела каких-нибудь животных, например, овечек, и будем резвиться на прекрасном лугу.

— А если не вместе? — пригорюнилась Нина.

— Никак это не возможно: мы будем крепко держаться друг за друга.

— А если не в овечек, а, например... в свиней... или... или... в лягушек?..

— Ну, так что ж?
— Противно. И потом, нас могут зарезать.
— Кто же режет лягушек?
— Нет, не лягушек, а если мы в овечек или свиной?
— Ну, все если да если! А ты думай, что в бабочек или, еще лучше, в толстых мопсов.
— Нет, нет, не хочу толстых мопсов! А бабочки так мало живут.

— Нинка, тебе, я вижу, не угодишь! И за это ты будешь превращена в крысу.

Нина, испуганная такой перспективой, пищит. Я шучу, как могу и умею, но дрожь не прекращается.

Стало еще светлее; я взглянул на часы: был ровно час ночи. Я встал и взглянул на север.

Теперь вся северная сторона горизонта была в огне. Громадное плавающее чудовище почти касалось земли своей круглой головой; мне померещилось, что эта голова имеет беспощадное выражение лица. Смотреть на нее долго — невозможно: режет глаза.

Ух! Сейчас будет история!

Зубы начинают стучать, и любопытство делается еще страстнее.

Вдруг меня поражает новая неожиданность: под нами по направлению к северу простиралась ярко-серебристая полоса.

Я чуть не вскрикнул: ведь это — вода. Да, мы среди огромного водного пространства, и берегов, несмотря на яркий свет, не видно. И шар совсем близко от поверхности воды!

Я схватил мешок балласта и выкинул за борт. Море мгновенно стало уходить вниз.

И было это вовремя!

XXX

Яркий свет вдруг ослабел, и сейчас же все кругом нас как будто содрогнулось.

Чудовищная, сверхъестественная волна рванулась из моря к небу и пенистым гребнем своим достигла шара, обдав нас брызгами. На моих глазах бывшее невдалеке судно взлетело на этой волне почти до уровня шара и затем ринулось вниз. До меня донесся крик отчаяния, но через секунду судно было покрыто массой воды и исчезло навсегда. При наступившей затем темноте (относительной, конечно) я не мог уже рассмотреть ничего, кроме громадных водяных гор, прогуливавшихся по всему необъятному пространству моря.

На севере стояло необычайное зарево, переливавшееся всеми цветами радуги; из этого зарева вылетали целые снопы — что я! — целые скирды огня. Настоящие *fontaines lumineuses*, устроенные самой природой и, по ее всегдашнему обыкновению, в грандиознейшем и величественнейшем виде. Материала она не пожалела!

Я стоял и смотрел, не сводя глаз, как очарованный и очарованный вдвойне: эффектным зрелищем и мыслью, что столкновение уже произошло, и мы все-таки живы, живы и даже совсем невредимы.

Я все еще дрожу немного, но уже гордо гляжу в лицо будущему и смело кричу:

— Ура! Мы спасены!

В упоении я начинаю трепать Нину, и ей — представьте — очень понравилось; больше, надо думать, не трепка, а спасение. Затем я выкинул еще несколько антраша, подходящих больше теленку, чем солидному 35-летнему мужчине.

Но скоро мой восторг умеряется: я вспоминаю о родителях, Вере, Мане и увядаю. Как-то они перенесли столкновение? Живы ли? О, мои милые, милые! Мне вдруг страстно захотелось к ним. Но мы были во власти шара, а он пока не желал расставаться с нами; да и мы сейчас вовсе не желали этого.

Вскоре стало светать, и пожар на севере побледнел. Когда же взошло солнце, на севере вместо зарева стала видна страшно-зловещая темная туча.

Куда девались ужасные призраки прошедшей ночи? Нина весела, как птичка, я... я тоже был весел, если б знал наверное, что у моих все благополучно.

Мало-помалу, однако, восторг сменяется невольной тревогой. Как нам быть теперь? Положим, мы — на шаре в безопасности, но только пока есть еще балласт; и то я должен был опять выбросить мешок его (по счету третий) и, хотя получил за это награду в виде внезапно расширившегося горизонта, но утешен этим не был. Балласта было очень ограниченное количество, и недалеко была минута, когда для поддержания шара нам пришлось бы выбросить из корзины самих себя. А тогда... Да неужели мы спаслись из огня для того, чтобы погибнуть в воде? О, черт возьми!

Но мы все не хотели понять, что природа покровительствует нам щедрой рукой. Тогда она еще раз показала нам это.

Солнце стояло уже высоко. По морю ходили еще волны, но уже умеренные и аккуратные; на всем видимом с шара пространстве не было ни одного судна, и только вддали, вддали синела полоска; там, должно быть, берег, к которому направлены все наши вожеления. Но «видит око, да... шар не идет».

Выглянув еще раз за борт корзины, я заметил, что нас несет гораздо быстрее, и скорость движения все увеличивается; но теперь мы летим прямо к северу, к этой мрачной туче, тяжелым, темным саваном одевшей горизонт.

Берег все ближе; еще несколько минут, и мы несемся над землей. Быстрота движения такова, что глаз еле успевает схватывать то, что вокруг нас. Все-таки можно заметить, что столкновение и море наделали массу бед: во многих местах кучи вырванных с корнем деревьев или разрушенные ударом каменные здания; деревянные постройки чувствовали себя тоже не совсем хорошо: их, вероятно, тошнило, и они стояли в самых жалких позах.

Вся прибрежная местность на большом протяжении была покрыта необыкновенным количеством лужиц, луж и целых озер: море, сделав визит и возвратившись вспять, из

любезности оставило свои дары в каждом мало-мальски подходящем углублении.

Но все это несло, мелькало в наших глазах с головокружительной и все увеличивавшейся скоростью. Видно было, как ветер гнул до земли целые леса и выворачивал с корнем великанов растительного царства, обладавших богатой листвой. Крыши летели с домов, деревянные строения, не защищенные рельефом местности, тоже валялись, как карточные домики.

Скоро мы достигли местности, до которой море не добралось; здесь неслись тучи пыли и песка, заволакивавшие временами землю, как туман.

Я никак не мог сообразить, почему это, откуда такой ураган, и был очень смущен. Нина тоже обеспокоилась:

— Коля, ведь нас несет прямо к месту столкновения.

— Ну да! Что ж из этого?

— Там теперь, должно быть, целый ад, судя по бывшему зареву. Что будет, если нас втянет туда?

Меня сразу осенило.

Ну, конечно, втянет: воздух в месте столкновения, раскаленный массой огня, стремительно уходил вверх, а на его место потребовались из других стран света целые моря нового воздуха и потребовались, суди по скорости нашего полета, крайне экстренно.

Надо спастись! Но как? Шар шел все ниже над поверхностью земли, но если бы он опустился при таком урагане, от нас не осталось бы и клочка.

Как же быть? Что делать? Неужто сидеть, сложа руки, и ждать смерти, от которой мы так счастливо улепетнули было?

Мы стоим в оцепенении и смотрим на север, смотрим, смотрим и ничего путного не видим. Ах, нет, вот и путное!

Вдали показалась глубокая долина с протекавшей по середине ее речкой. Вот оно, наше спасение!

Я быстро взбираюсь по сетке до оболочки шара и делаю в ней большой прорез. Шар заметно опускается. Еще минута, и мы ниже уровня окружающей долины возвышенности. Движение шара сразу замедлилось.

Я сбрасываю якорь. Через секунду он касается земли и, протавившись несколько шагов, застревает на месте.

Шар сильнее рвануло, потом наклонило до самой земли, но якорь не пускает. Нас бьет о землю, но мы в испуге крепко держимся за веревки, и это спасает нас. Еще несколько секунд, и шар мягко ложится по склону возвышенности у самой реки.

Мы пользуемся случаем и вываливаемся из корзины в густую колосистую пшеницу. Шар делает еще несколько конвульсивных движений, затем смиряется и принимает скромный вид.

XXXI

Мы спасены окончательно!

Здесь даже ветер совсем слаб, хотя мы ясно слышим, как над нами проносятся массы воздуха, обдавая нас оседающей пылью. Но на это нам наплевать! Главное, мы — на твердой почве, целы и невредимы, чего уж трудно было ожидать. Невредимы, потому что несколько ссадин нельзя же считать повреждением.

Правда, малодушная Нина с горестным видом показывает мне разорванное на локте платье и большую царапину на этом же локте, но мне кажется странным, как это она может думать теперь о таких пустяках. И тогда, когда от нас могла остаться только одна царапина без локтя и даже без всего тела! Гм... большое малодушие! Впрочем, это у нее, должно быть, от нервов.

Мы выбрали место, достаточно защищенное от ветра и пыли, и просидела там до вечера, а потом заснули от утомления прямо на земле.

Когда мы проснулись на следующий день, ветер почти утих, солнце ярко сияло на безоблачном небе, кругом было так мирно, хорошо, и если бы не безобразная груда шара, лежавшая у речки, нам все пережитое за последнюю неделю показалось бы сном.

Итак, мы пока вырвались из когтей смерти. Вот тебе большой нос, сударыня!

О, какой восторг, какое блаженство! Опять, значит, все та же повседневная, серенькая, бесконечно-скучная или трагически-безотрадная сутолока, называемая, по недоразумению или из приличия, жизнью! Снова то же бесцельное переливание из пустого в порожнее, все то же перескакивание из кулька в рогожку! Опять, значит, та же постоянная забота о куске хлеба и всегдашняя боязнь потерять его; опять страсть и пресыщение, любовь и разочарование, стремление к чему-то, называемому людьми идеалами, и видимая несбыточность их осуществления! А между тем, идеалы эти имеют уже довольно-таки подержанный вид.

Боже мой, зачем же я спасся? Неужели затем, чтобы все-таки не сегодня, так завтра, не завтра, так, наверное, послезавтра бесследно исчезнуть с лица земли, но не при фантастически-великолепной обстановке, вызванной борьбой миров, не так мгновенно и почти без страданий, а, вернее всего, где-нибудь в богадельне или просто на улице после долгих, мучительно-долгих лет страданий и физических, и нравственных?

И вдруг в глубине моей души шевельнулось чувство горького сожаления: зачем, зачем мы третьего дня пошли взглянуть на море?

Первое издание книги Н. Н. Холодного вышло в свет в петербургской типо-литографии Н. Евстифьева в 1900 г. Книга – очевидно, в коммерческих целях – была опубликована под двумя различными заглавиями: «Борьба миров» и «Конец Петербурга» с соответствующими обложками и титульными листами.

Роман печатается по первоизданию с исправлением ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Историки фантастики не располагают какими-либо сведениями об авторе данного романа.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.